



Александр Дюма
Ашборнский пастор

1853

Дюма А.

Ашборнский пастор / А. Дюма — 1853

Сложные переплетения сюжета захватывающего романа А. Дюма «Ашборнский пастор» открывают еще одну, далеко не всем знакомую грань литературного дарования автора «Графа Монте – Кристо», погружая читателя в атмосферу мистики. В водоворот событий здесь вовлекаются не храбрые мушкетеры, а простодушный английский сельский священник, людские судьбы решает не коварный кардинал, а трагический рок и призрак безутешной дамы в сером уводят пастора из его восемнадцатого века в ее семнадцатый. Роман «Ашборнский пастор» («Le Pasteur d'Ashbourn»), представляющий собою сочетание повести в духе «черного» готического романа ужасов XVIII в., автобиографии героя и биографического очерка Байрона, написан Дюма в 1853 г.

Содержание

Часть первая	5
I. Великий Александр Поп[1]	5
II. Каким образом я стану великим человеком	13
III. Первый совет моего хозяина-медника	27
IV. Второй совет моего хозяина-медника	33
V. Третий совет моего хозяина-медника	40
VI. Мой ораторский дебют	48
VII. Великодушные господина ректора	52
VIII. «Н.О.С.»	57
IX. Вдова	62
X. Человек всего лишь странник на земле	66
XI. Бог располагает	71
XII. Каким образом был обставлен пустой дом	76
XIII. О том, что я увидел из окна с помощью подзорной трубы моего деда-боцмана	82
XIV. О том, какое влияние может оказать открытое или закрытое окно на жизнь бедного деревенского пастора	87
XV. Глава, являющаяся лишь продолжением предыдущей	92
XVI. Жена и дочь пастора Смита	98
XVII. Я вновь обретаю мою золотоволосую незнакомку с ее соломенной шляпкой, розовыми щечками и белым платьем, перетянутым голубой лентой	103
XVIII. Прогулка	110
XIX. Мы с дженни говорим немного о моей проповеди и гораздо больше о женщине, которую я полюбил	114
XX. Испытание	120
XXI. Конец моего романа	125
XXII. Начало моей истории	129
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Александр Дюма Ашборнский пастор

Часть первая

І. Великий Александр Поп¹

Господину доктору Петрусу Барлоу, профессору философии Кембриджского² университета.

Ашборн,³ близ Ноттингема,⁴ 5 апреля 1754 года.

Дорогой коллега!

Разрешите мне использовать это дружеское обращение, мой горячо любимый Петрус; думаю, оно здесь вполне уместно, хотя Вы ученый, имеющий степень доктора философии, а я всего лишь простой сельский пастор: на Вас лежат заботы о человеческой плоти, а на мне – заботы о человеческой душе; я подготавливаю людей к смерти, Вы же подготавливаете их к жизни, – и только Господь Бог мог бы сказать, кто из нас выполняет миссию более священную.

Правда, мой дорогой коллега, время от времени мне приходится исправлять содеянное Вами, ибо Ваша несчастная школярская философия всегда дает некоторый крен в сторону язычества и порою я бываю вынужден признать, что, хотя «Илиада»,⁵ и Библия⁶ «Федон»⁷ и Евангелие⁸ – произведения прекраснейшие и прежде всего выразительнейшие, «Илиада» и

¹ Поп, Александр (1688–1744) – английский поэт-сатирик, переводчик и философ, пользовался непререкаемым авторитетом в литературной среде; придал английскому стиху правильность и легкость, стремился «очистить» его от грубостей; был сторонником просветительского классицизма и высмеивал невежество и пороки современного ему общества.

² Кембридж – город на юго-востоке Англии, на реке Кем; административный центр графства Кембриджшир; его знаменитый университет (основан в 1209 г.) начиная с XVII в. в основном ориентирован на изучение математических и естественных наук.

³ Ашборн – селение примерно в 50 км к западу от Ноттингема, в графстве Дербишир.

⁴ Ноттингем – город в Центральной Англии, на реке Трент; административный центр графства Ноттингемшир; крупный промышленный и финансовый центр; известен также многочисленными учебными заведениями и архитектурными памятниками; впервые упоминается в IX в.

⁵ «Илиада» – эпическая поэма Гомера, повествующая о нескольких днях Троянской войны, походе ополчения греческих героев на город Троя в Малой Азии в кон. XIII – нач. XII в. до н. э. (другое название Трои – Илион, что и дало название поэме).

⁶ Библия (от гр. *biblia* – «книга») – священная книга иудеев и христиан; сборник религиозных легенд и богослужебных текстов, составленных разными авторами и в различных местах Ближнего Востока с VIII в. до н. э. по II в. н. э.; состоит из Ветхого завета, являющегося Священным писанием в иудейской и христианской религии, и Нового завета, признаваемого лишь христианами. Здесь подразумевается именно Ветхий завет.

⁷ «Федон» – диалог Платона, относящийся к зрелому периоду его творчества (ок. 380–375 до н. э.); назван по имени ученика Сократа Федона из Элиды, который пересказал последнюю беседу Сократа с учениками и описал его казнь. В первой части диалога обсуждается тема смерти и недопущения самоубийства; во второй – доказывается бессмертие души; третья часть излагает миф о загробной жизни. Авторитет этого сочинения в период античности и в средние века был очень велик.

⁸ Евангелие (от гр. «благая весть», «благое повествование») – общее название четырех богослужебных книг, входящих в Новый завет. Согласно преданиям, они написаны учениками Христа Матфеем и Иоанном и его последователями Марком и Лукой в I в. н. э. Эти евангелия содержат биографию Иисуса, описание совершенных им чудес и изложение его поучений. Ни одно из евангелий не отмечено точной датой его создания. Они написаны на греческом языке и, следовательно, распространялись среди населения Римской империи, а не среди палестинских иудеев, как утверждали ранние христианские богословы. Возникшая в нач. XIX в. научная критика евангелий установила, что они сложились во II–III вв. в период формирования христианской церкви и содержат большое количество несоответствий, противоречий и заимствований из других священных книг Ближнего Востока. Поскольку складывавшиеся христианские общины нуждались в богослужебной литературе, в них возникло множество жизнеописаний Христа, из которых богословами в христианский канон были включены лишь упомянутые четыре, а прочие признаны апокрифическими.

Библия нередко вступают в противоречие друг с другом, а «Федон» и Евангелие не всегда пребывают в согласии между собой.

И Вы отлично понимаете, дорогой мой Петрус, что когда я сталкиваюсь с проявлениями подобных противопоставлений, то не могу допустить, чтобы правда оказалась на стороне «Илиады» или «Федона».

Но, как сказано в последнем Вашем письме, несмотря на разногласия между авторами, которых мы комментируем, и между предметами, которые мы преподаем, будем надеяться, что существует некая точка, где наши столь различные на первый взгляд пути в один прекрасный день все же встретятся.

Точка эта есть не что иное, как вера в вечную справедливость, а еще точнее – вера в божественное милосердие, которая, по моему глубокому убеждению, дорогой мой Петрус, от нас обоих потребует отчета за наши благие намерения, не слишком придираясь к тем из наших провинностей и заблуждений, что проистекают из человеческой слабости.

В ожидании часа, когда Господу будет угодно поселить нас в том мире, который должен сменить наш нынешний мир, каждый из нас будет предаваться исследованиям, которые на первый и поверхностный взгляд могут показаться совершенно одинаковыми, в то время как философ и мыслитель усмотрят в них существенные различия.

Вы, дорогой мой Петрус, изучаете человека; я же изучаю людей.

Вы смогли добиться больших успехов, нежели я, особенно если говорить о начальной поре моей жизни.

Теперь подобное исследование человека, то есть рода человеческого, представленного отдельными индивидами, Вы желаете провести на моем примере, как Вы это делали ранее на примере других.

В своей снисходительности к скромному пастору Вы утверждаете, что у меня есть некоторые хорошие качества; в ответ на это я виню себя в больших моих недостатках.

Чтобы на основе наших различных мнений Вы могли составить себе верное представление, попросите меня предстать перед Вашим взглядом таким, каким я вышел из рук Творца: *solus, pauper et nudus*;⁹ да будет так! Сейчас я сброшу с моих плеч одеяние смиренника, сквозь дыры которого частенько можно увидеть сердце гордеца.

Обозрите со всех сторон мою бедную особу настолько неспешно и внимательно, насколько Вам будет угодно, и я не сделаю даже попытки скрыть от Вас хотя бы один из моих недостатков или одну из моих странностей, поскольку Господь, надеюсь, подымет меня тем выше, чем ниже я опущусь.

Родился я в 1728 году, в деревеньке Бистон,¹⁰ где мой родитель служил пастором.

Что касается моей матери, то она была дочь боцмана¹¹ на торговом судне, за три года до моего рождения погибшего во время шторма, когда его судно со всем его скудным имуществом пошло ко дну.

Следовательно, все пропало вместе с ним, за исключением превосходной морской подзорной трубы, отданной на время одному из его друзей; этот человек не знал, когда мой дед отправится в плавание, и потому принес подзорную трубу лишь на следующий день после отплытия ее владельца.

Упоминаю этот факт, поскольку эта подзорная труба играет в моей жизни немаловажную роль.

⁹ *Одинок, нищ и наг* (лат.) – Возможно, имеются в виду слова героя библейской Книги Иова: «И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял ... да будет имя Господне благословенно!» (Иов, 1: 21).

¹⁰ Бистон (Beeston) – в Англии имеется шесть населенных пунктов с таким названием; один из них находится в Ноттингемшире, у юго-западной окраины Ноттингема; скорее всего, он и имеется здесь в виду.

¹¹ Боцман – старшина палубной команды; следит за состоянием корабля, палубы, надстроек и находящегося на них имущества; руководит палубными работами.

Однако мой отец искал в женщине, с которой он хотел соединить свою судьбу, лишь достоинства, составляющие подлинное благородство супруги и благочестие матери.

Так что отсутствие состояния ничуть не остановило отца: он женился на моей матери, бедной сироте, какой ее сделала беда, и единственной вещью, которую она принесла в общее хозяйство, переступив порог дома священника в качестве его супруги, как раз и была эта великолепная подзорная труба, почтительно помещенная над камином – на самом почетном и самом видном месте в доме.

С самых моих ранних лет отец служил мне прекрасным примером для подражания: он был тверд, смел, искренен, добр по отношению к беднякам, но не очень-то обходителен с вельможами и богачами, обращаясь с самым деревенским помещиком более сурово, чем с нищим, который ожидал его с протянутой рукой у двери церкви и которого отец никогда не оставлял без подавания и доброго совета, причем скорее уж только с подаванием, чем с советом без подавания, поскольку в подобном случае полагал, что милостыню не столь уж обязательно нужно сопровождать советом, в то время как совет без милостыни весьма постен и черств.

Беспристрастная прямота отца и его непоколебимая степенность привели к тому, что одна часть прихожан его любила, а другая – уважала.

Само собой разумеется, что, в полном согласии с волей Божьей, любили его бедняки.

Что касается меня, то я к отцу испытывал не просто любовь, а уважение; нет, больше чем уважение, – восхищение!

Я смотрел на него как на нечто недостижимое, как на существо, стоящее выше остального человечества; и я бы никогда не осмелился коснуться губами щеки или даже ладони этого достойного человека, если бы иногда он сам не предлагал мне это сделать, а когда я не решался на это, то за приглашением следовал едва ли не приказ.

Однажды, когда я лежал в комнате матери на ковре у ее ног и читал книгу, туда вошел отец с письмом в руке.

Лицо его сияло, и я сразу понял, что письмо принесло ему какую-то важную новость.

И правда, наш родственник из Саутуэлла¹² извещал отца о том, что прославленный Александр Поп, сотоварищ этого нашего родственника по Оксфордскому¹³ университету, в ближайший четверг должен будет по пути в Йорк¹⁴ остановиться у него.

Вот он и приглашал моего отца, с которым они не виделись больше десяти лет, воспользоваться случаем, чтобы встретиться и заодно познакомиться с автором «Опыта о человеке»¹⁵ и «Дунсиады»¹⁶

Этому-то приглашению и обрадовался отец.

Я спросил, кто такой этот Александр Поп.

– Автор книги, которую ты держишь в руках, – ответил отец.

¹² Саутуэлл – городок в Центральной Англии, примерно в 20 км к северо-востоку от Ноттингема и в 90 км к югу от Йорка.

¹³ Оксфорд – старинный университетский и промышленный город на Темзе, к северо-западу от Лондона; административный центр графства Оксфордшир; в нем сохранилось много памятников средневековой архитектуры; в Оксфорде начались в 1265 г. заседания английского парламента; в XII в. там возник университет, известный своими аристократическими традициями.

¹⁴ Йорк – город на севере Англии, на реке Уз; возник в I в. н. э. на месте римского поселения Эборикум; в X в. вошел в состав английского государства; административный центр графства Йоркшир; крупный промышленный город и транспортный узел.

¹⁵ «Опыт о человеке» («Essay on Man»; 1732–1734) – философская поэма А. Попа, излагающая мировоззрение английского деизма; в ней автор выразил уверенность в гармоничности всего сущего, что не помешало ему подвергнуть критике пороки общества.

¹⁶ «Дунсиада, героическая поэма» («The Dunciad, an heroic poem»; 1728) и «Новая Дунсиада» («The new Dunciad»; 1742) – иронические поэмы Попа, направленные против его литературных противников, которых он называл «тупицами» (англ. dunces), а также против невежества и глупости, грозящих разуму и просвещению.

И действительно, незадолго до того отец подарил мне «Илиаду» в переводе знаменитого писателя.¹⁷ Книга была украшена превосходными гравюрами, вносящими свой вклад в мое восхищение от ее содержания.

Узнав, что отец приглашен на обед вместе с человеком, который написал прекрасные стихи, выученные мною наизусть, я воскликнул:

– Не правда ли, мой достопочтенный отец, вы возьмете меня с собой?

– Да, конечно, – ответил отец, и я видел, как в эту минуту в глазах его светился огонь воодушевления, – да, мой сын, не может быть и речи о том, чтобы я имел возможность показать тебе величайшего поэта нашего века и не воспользовался таким случаем.

Я вскочил на ноги и захопал в ладоши, но тотчас остановился, пристыженный, ибо впервые допустил подобную вольность на глазах у отца!

То ли отец сам пребывал в необычном состоянии, то ли он просто не заметил моей оплошности, но он не сделал мне никакого внушения и удовольствовался лишь тем, что сказал матери:

– Ну, жена, надо подготовиться к этому путешествию. Впрочем, в нашем распоряжении оставалось еще три дня, а проехать предстояло всего двенадцать лье.¹⁸

Но событие это было столь неожиданное, а цель поездки столь заманчивой, что в доме все три дня ни о чем другом и не говорили.

Весь отцовский туалет подвергся ревизии.

Упаковали его нарядный сюртук и красивые короткие штаны из черного бархата; постарались не забыть шелковые чулки и атласный камзол; начистили до зеркального блеска серебряные пряжки на его туфлях; матушка, дабы не уронить чести супруга, пожертвовала своим приданым и украсила жабо и манжеты мужа великолепными английскими кружевами, полученными ею от ее матери, которой они в свою очередь достались в наследство от ее бабушки.

Меня же облачили в новый каштанового цвета костюм, перешитый из сюртука, который отец носил не более трех лет; подобной расточительности мы никогда ранее себе не позволяли, и она никогда больше не должна была повториться ни в моей жизни, ни в жизни отца.

Десять знакомых из нашей деревни и даже из соседнего города предложили отцу свои кареты для столь важного путешествия; некоторое тщеславие едва не подтолкнуло отца взять карету у соседа-помещика, гордыню которого он время от времени обличал перед прихожанами, правда косвенным, однако столь недвусмысленным образом, что никто не мог заблуждаться на этот счет, даже сам помещик; однако то ли отца удерживала мысль, что предложение дворянина тайло намерение ввести пастора в грех, для смертного тем более простительный, что его не избежал даже самый прекрасный из ангелов, то ли отец просто одумался, но, так или иначе, он отклонил любезность этого господина и принял предложение местного фермера.

Утром знаменательного дня мы увидели у наших дверей скроменькую одноколку – в ней нам предстояло добраться из Бистона до Саутуэлла.

Никогда не забыть мне этой поездки, дорогой мой Петрус: я словно отправился в ту землю обетованную, которую посулил иудеям их великий законодатель,¹⁹ и никогда еще не был столь счастлив и горд.

¹⁷ Перевод «Илиады» был выполнен А. Попом в 1715–1720 гг.; он переложил ее стихотворный размер с гекзаметра на рифмованный пятистопный ямб и, придерживаясь точки зрения «хорошего вкуса» классицизма, очистил ее текст от того, что он считал грубостями.

¹⁸ Льё – старинная французская мера длины: земельное льё равнялось 4,444 км, почтовое – 3,898 км, морское – 5,556 км; однако существовало еще и т. н. английское льё (или лига) – 4,83 км.

¹⁹ В Ветхом завете Бог говорит Моисею о своем желании вывести евреев из египетского рабства в «землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед» (Исход, 3: 8). Землей обетованной – т. е. «обещанной» – назвал Палестину апостол Павел в своем Послании к Евреям (11:9). **Великий законодатель** – Моисей (ок. 1500 г. до н. э.), вождь еврейского народа, основатель иудейской религии, освободитель еврейского народа от египетского рабства; согласно библейской традиции, получил от Господа десять заповедей и другие законы («Синайское законодательство»).

К тому же и вся природа – а я впервые обратил на нее внимание, увидев ее в великолепных ярких красках, – к тому же и вся природа тоже выглядела радостной и горделивой: так же как мы с отцом, она облеклась в праздничное одеяние, надела зеленое платье мая и украсилась душистым венком из цветов.

На протяжении всего пути мы видели только колеблемые ветром султаны листвы, усеявшие землю первоцветы и барвинки да порхающих повсюду птичек, садящихся только ради того, чтобы пением воздать хвалу Господу, позволившему им вместе с человеком, его старшим сыном, владеть этим миром, который ежегодно вновь рождается таким прекрасным, таким свежим, таким благоухающим, что человек, видя его вечно молодым, даже не замечает, что сам он стареет.

Сидя в одноколке рядом с отцом, я не отваживался с ним заговорить, да и он, хотя и более чем обычно улыбочивый, не сказал мне ни слова, однако я радостно впитывал в себя празднество природы, чувствуя, как в глубине моего ума пробиваются ростки мыслей, занимающих его и по сей день, и как майское солнышко словно пробуждает их и призывает к жизни точно так же, как оно призывает к жизни зеленую траву, белые маргаритки и лазоревые барвинки.

Сравнение представлялось мне тем более верным, что в глазах моих я ощущал слезинки, подобные каплям росы, дрожавшим в чашечках цветов.

В каждой деревне одноколка останавливалась перед дверью пасторского дома; отец выходил из одноколки, приказывал мне следовать за ним, входил в дом собрата, быть может не в меру шумно для человека столь скромного положения, и говорил:

– Мой дорогой друг, поздравьте меня..

– С чем же это? – интересовался брат. – Бог дарует вам митру²⁰ епископа или ваша супруга забеременела во второй раз?

– Друг мой, я еду отобедать в компании с великим Александром Попом, первым поэтом Англии, мира и даже века!

И тут собеседник отца простирает руки к Небесам со словами:

– Друг мой, вы счастливый человек!

А женщины, указывая рукой на моего отца, говорили своим детям:

– Дочь моя (или «сын мой»), посмотри на пастора Бемрода: сегодня он будет обедать вместе с первым поэтом века, мира, Англии – вместе с великим Александром Попом!

И тогда вокруг отца слышался шепот завистливого восхищения, среди которого он словно становился выше, подобно тому как священник будто обретает величие в облаке ладана.

И мы снова садились в одноколку, и чем выше поднималось солнце над горизонтом, тем прекраснее, тем радостнее, тем благоуханнее становилась природа и казалось, что и она несет путешественнику дань поздравлений.

Проехав примерно льё, одноколка опять останавливалась, отец выходил из нее, и вновь повторялась такая же сцена.

Из-за этих исполненных гордыни остановок, быть может записанных врагом рода человеческого на его огненных скрижалях, мы, несмотря на то что выехали из Бистона в пять утра и фермер предоставил нам свою лучшую лошадь, к родственнику отца добрались только к двум часам пополудни.

К счастью, великий Александр Поп еще не приехал.

Но, так как он несколько заставлял себя ждать, у нашего родственника все как бы повисло в воздухе.

Этого нашего родственника, о котором я слышал как о человеке простом и уравновешенном, в этот день просто распирало от гордыни: в напудренном парике, белом, как февральское утро, он откидывал голову назад, выставлял ногу вперед, откашливался, сплевывал слюну и

²⁰ Митра – головной убор высшего духовенства, надеваемый им при полном облачении.

каждые пять минут шумно, с важным видом брал щепоть табака из табакерки саксонского фарфора,²¹ три четверти которого просыпалось на его жабо, от крахмала настолько жесткое, что оно походило то ли на петушиный гребень, то ли на спинной рыбий плавник.

Гордыня, излучаемая всей его особой, выдавала себя и в его голосе, и в его взгляде, и в его жестах; речь его была степенной и неспешной.

– Здесь, – заявлял он, двигаясь вокруг обеденного стола, – я посажу великого Попа, прославленного автора «Дунсиады», «Опыта о человеке» и многих других превосходных сочинений. Справа от него сяду я, слева сядет моя жена; напротив него я посажу моего родственника Бемрода, а рядом с ним справа и слева – почтенных старейшин Ньюарка.²² и Честерфилда²³

Как вы сами видите, господа, стол круглый, – добавил он, обращаясь к гостям, – а это значит, что, хотя нас за столом будет двадцать четыре человека, все смогут увидеть и услышать великого Попа.

Затем приглашенные вернулись в гостиную, где две красивые девушки шестнадцати-семнадцати лет, одетые в белые платья, готовили венки из лавровых веточек и роз, и эти венки должны были засвидетельствовать, что великий Поп в лирических стихотворениях достиг таких же высот, как и в легкой поэзии.

При любом звуке, доносившемся из прихожей, в гостиной происходила целая революция; каждый, вставая, спрашивал с тревогой и любопытством:

– Это великий Александр Поп?

Что же касается меня, я ждал так напряженно, что не покидал прихожей и, не сводя глаз с двери, забывая обо всем на свете, даже о моем сюртуке каштанового цвета, думая лишь о человеке, в честь которого он был сшит; внимательно прислушиваясь к малейшему шуму на улице, не пропуская без внимания даже чуть заметное движение двери, я то и дело восклицал: «Кузен, звонят!» или: «Кузен, стучат!»

И, когда я выкрикивал эти слова, сердце мое колотилось так, как никогда в детстве даже по самым волнующим поводам; меня удивляло только то, что я не слышал ни барабанного боя, ни звуков фанфар, которые, по моему мнению, должны были возвестить это торжество. Мне столько говорили о великом Попе, что я ожидал увидеть гиганта, головой упирающегося в потолок, или, по крайней мере, кого-нибудь подобного одному из тех королей, с которыми я познакомился в волшебных сказках, – величественного мужа, облаченного в златотканое одеяние с бриллиантовыми звездами, с орденами и крестами, как у знатного вельможи, сопровождаемого целой толпой юных пажей и слуг в ливреях.

Вдруг кто-то постучал в дверь, но так робко, что мне и в голову не пришло вскрикнуть «Стучат!», как я кричал перед тем.

Так или иначе, дверь приоткрылась и пропустила человечка лет пятидесяти – пятидесяти двух, слегка прихрамывающего, горбатого и одетого во все серое.

Я было вознамерился спросить, что ему здесь надо, но услышал шум и гул голосов; гости во главе с амфитрионом²⁴ ринулись по коридорам и лестницам, крича на бегу:

– Это он! Это он! Это знаменитый поэт! Это великий Поп! Слава ему – бессмертному, возвышенному, принадлежащему всему миру!

Я огляделся, пытаясь увидеть, кого это так величают все эти люди, показавшиеся мне сумасшедшими, а они тем временем, воздавая ему всяческие почести, приветствовали хро-

²¹ Саксонский фарфор – художественные изделия основанного в 1710 г. завода в городе Мейсене в Саксонии, на котором был изобретен европейский фарфор.

²² Ньюарк – небольшой город в Центральной Англии, в графстве Ноттингемшир, примерно в 50 км к северо-востоку от Ноттингема; стоит на судоходном притоке Трента – реке Ньюарк.

²³ Честерфилд – город в Великобритании, в графстве Дербишир, приблизительно в 70 км севернее Ноттингема.

²⁴ Амфитрион – герой древнегреческой мифологии, муж Алкмены, матери Геракла, и его приемный отец. После истолкования его образа Мольером в одноименной пьесе (1667) это имя стало синонимом гостеприимного и хлебосольного хозяина.

мого и горбатого человечка, вконец сконфуженного столь шумным приемом и столь многочисленным обществом, ибо он предполагал, что войдет в простой и малолюдный дом друга; вошедший здоровался, бормотал, прижимал руку к сердцу и, будучи не в силах выразить свою взволнованность голосом, пытался по крайней мере жестами показать благодарность своим поклонникам и поклонницам.

Когда утих первый порыв восторга, наш родственник обратился к великому Попу (ведь хромым и горбатым человечек и в самом деле был Александр Поп) с длинной заранее приготовленной речью, из которой я запомнил только то, что хозяин сравнивал именитого гостя с Гомером,²⁵ Вергилием,²⁶ Данте,²⁷ Петраркой,²⁸ и Тассо²⁹ разумеется наделяя Попа превосходством над этими пятью поэтами, его предшественниками.

По окончании этой речи две девушки в белом поднесли триумфатору венки из лавра и роз.

В ответ на это приветствие Поп произнес лишь несколько слов, расцеловал девушек и направился к гостиной в сопровождении всего общества, которому потребовалось около четверти часа, чтобы переступить порог, поскольку каждый почитал своим долгом любезно пропустить своего соседа вперед.

Думаю, некоторые из поклонников великого Попа еще дольше задержались бы у порога, но тут, как это делается для принцев, почтивших частный дом своим визитом, было объявлено, что обед в честь знаменитого автора «Опыта о человеке» подан; это сообщение, удвоив обостренные долгим ожиданием аппетиты, заставило опаздывающих прервать демонстрацию учтивости и подтолкнуло наиболее голодных первыми переступить порог.

Как Вы сами можете судить, дорогой мой Петрус, по всем рассказанным здесь подробностям, воспоминание это глубоко запечатлелось в моей памяти как одно из первых в моей жизни разочарований.

Я ожидал увидеть гиганта, подобного колоссу Родосскому,³⁰ или статуе Нерона³¹ а увидел маленького хромого и горбатого человека! Я рисовал в воображении приезд короля, облаченного в великолепную мантию, и, как уже говорилось, в золототканом наряде, украшенном бриллиантами, а в дверях появился незнакомец, одетый во все серое, и такого телосложения, что настоящий вельможа не пожелал бы взять себе подобного человека даже в лакеи.

²⁵ Гомер – легендарный странствующий слепой поэт Древней Греции; согласно античным источникам, жил в период ХН–VII вв. до н. э.; считается автором эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

²⁶ Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.) – древнеримский поэт, получил юридическое образование, но отказался от карьеры адвоката и обратился к поэзии и философии; его первое произведение «Буколики» сделало его известным и позволило сблизиться с окружением императора Августа; вершиной его творчества стала поэма «Энеида», задуманная как римская параллель поэмам Гомера и оставшаяся неоконченной; произведения его оказали огромное влияние на развитие европейской литературы.

²⁷ Данте Алигьери (1265–1321) – великий итальянский поэт, создатель современного итальянского литературного языка, автор поэмы «Божественная комедия», сборников стихотворений, научных трактатов.

²⁸ Петрарка, Франческо (1304–1374) – итальянский поэт, писатель-гуманист и дипломат; писал на латинском и итальянском языках; автор философских трактатов и любовных сонетов, принесших ему славу и признание.

²⁹ Тассо, Торквато (1544–1595) – итальянский поэт, автор христианской героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1574–1575), лирических стихов, пасторальных драм и трактатов.

³⁰ Колосс Родосский – одно из т. н. «семи чудес света»: бронзовая статуя древнегреческого бога солнца Гелиоса, созданная Харетом из Линда в 285 г. до н. э. и поставленная у входа в гавань острова Родос; высота ее составляла 37 м, каркас был из железа и камня; ее установили в память об успешном сопротивлении жителей Родоса войскам греческого полководца Деметрия Полиоркета в 305–304 гг. до н. э.; спустя 58 лет после ее возведения (в 227 г. до н. э.) была разрушена землетрясением.

³¹ **Нерон, Клавдий Цезарь** (37–68) – римский император из династии Юлиев-Клавдиев (с 54 г.); отличался невероятной жестокостью в расправах как с политическими противниками, так и с христианами; с его именем связано первое в истории массовое гонение на христиан (64 г.), которые видели в нем своего главного гонителя, а иногда – антихриста. Одержимый манией величия, Нерон построил в центре Рима дворец около километра длиной (позднее, после пожара, он был перестроен и назван «Золотой дом»), в вестибюле которого стояла статуя императора, изваянная Зенодором и имевшая высоту 39 м, несколько большую, чем колосс Родосский.

Поэтому в моей дальнейшей жизни всякий раз, когда вместо ожидаемого в нетерпении радостного события со мной случалось что-нибудь невеселое и огорчительное; всякий раз, когда вместо обещанного мне сияющего солнечного дня выпадал день сумрачный и дождливый, – я вспоминал день, проведенный у нашего родственника из Саутуэлла, и, предъявляя Господу это новое разочарование, шепотом произносил слова, понятные только мне одному и удивляющие многих людей:

«О великий Поп!»

Скажу теперь, этот визит оказал на меня влияние и иного рода, но, поскольку это мое письмо и так уже слишком длинное и поскольку это влияние, так же как и подзорная труба моего деда-боцмана, оказалось немаловажным в моей жизни, позвольте мне попрощаться с Вами, дорогой мой Петрус, и попросить Вас передать мой поклон Вашему достойному брату Сэмюэлю Барлоу из Ливерпуля,³² а то, что мне осталось досказать на эту тему, я приберегу для следующего послания, ведь повествование, втисни бы я его в это письмо, оказалось бы, само собой разумеется, лишенным необходимой для него обстоятельности.

Но я весьма опасаясь, дорогой и уважаемый коллега, что, расскажи я Вам мою жизнь и поведай то, что Вам хотелось бы знать, Вы, обманутый в своих ожиданиях, как частенько бывал обманут я сам, напишете в свою очередь: «О великий Поп!..»

³² Ливерпуль (Ливерпул) – один из крупнейших портовых городов Великобритании, значительный промышленный, торговый и финансовый центр; расположен на северо-западе Англии, при впадении реки Мерси в Ирландское море; первое упоминание о нем относится к XII в., права города получил в XIII в.; ныне главный город графства Мерсисайд.

II. Каким образом я стану великим человеком

И все же что этот день оставил у меня в душе, так это желание самому стать великим человеком ради того, чтобы и меня в один прекрасный день встретили так, как в Саутуэлле был встречен великий Поп.

Желание это оказалось настолько сильным, что, когда я впервые стал рассматривать себя в зеркале, тщеславие нашептывало мне, что я ведь не только не хромым и не горбатым, а, напротив, довольно миловидный подросток.

Моя внешность не вызывала того разочарования, которое внушил мне и должен был внушать другим великий Поп, а уж это, во всяком случае, являлось преимуществом перед ним – преимуществом, дарованным мне самим Небом.

Однако, каким же образом я смогу стать великим человеком? Такой вопрос я задавал самому себе.

Действовать ли мне так, как Ахилл,³³ Александр Македонский,³⁴ Юлий Цезарь,³⁵ Карл Великий³⁶ или Ричард Львиное Сердце³⁷

У меня никогда не было явного призвания к поприщу завоевателя.

Так же как Церковь, к которой я принадлежу или, вернее, не принадлежу, поскольку заповедь эта католическая, я испытываю ужас перед пролитием крови.³⁸

К тому же все великие люди, имена которых я только что назвал, сами были сыновьями королей, а то и потомками богов или богинь,³⁹ и в определенное время получали в свое рас-

³³ Ахилл (Ахиллес) – в древнегреческой мифологии, «Илиаде» и «Одиссее» Гомера храбрейший из греческих героев, осаждавших Трои. Все успехи греков вплоть до его смерти были достигнуты под его предводительством. В этой войне ему была суждена бессмертная слава и ранняя смерть, причем грекам было предсказано, что без Ахилла Трои им не взять.

³⁴ Александр Македонский (356–323 до н. э.) – царь Македонии (историческая область в центральной части Балканского полуострова) с 336 г.; воспитывался знаменитым древнегреческим философом Аристотелем; завоевав земли персидской монархии, вторгся в Среднюю Азию, дошел до реки Инд, создав крупнейшую мировую монархию древности. Эта империя после его смерти распалась на ряд государств, во главе которых встали его сподвижники.

³⁵ Цезарь, Гай Юлий (102/100–44 до н. э.) – древнеримский полководец, государственный деятель и писатель, диктатор; возглавлял завоевание Галлии, расширил римские владения на востоке Испании; был убит заговорщиками-республиканцами.

³⁶ Карл Великий (742–814) – король франков с 768 г., император с 800 г.; по его имени названа королевская и императорская династия Каролингов (751–987), самым выдающимся представителем которой он был. В результате его многочисленных завоевательных походов (против лангобардов, баварского герцога Тассилона, саксов, арабов в Испании и др.) границы франкского королевства расширились и включили в себя весь западный христианский мир; в 800 г. папа Лев III (750–816; папа с 795 г.) возложил на него в Риме императорскую корону; стремился к укреплению границ империи, к централизации власти, подчинению обширного государства единым законам; важную опору королевской власти видел в католической церкви; в его царствование произошел заметный подъем в области культуры (т. н. «Каролингское возрождение»).

³⁷ Ричард I Львиное Сердце (1157–1199) – король Англии с 1189 г. из династии Плантагенетов; один из предводителей третьего крестового похода (1189–1192); по сути был не королем, а странствующим рыцарем; провел в своем государстве лишь несколько месяцев, ибо все время участвовал в различных военных предприятиях; считался храбрейшим воином, за что и получил свое прозвище.

³⁸ ... Так же как Церковь, к которой я принадлежу или, вернее, не принадлежу, поскольку заповедь эта католическая, я испытываю ужас перед пролитием крови. – Судя по тексту романа, пастор принадлежал к государственной англиканской церкви (хотя ниже он называет ее по-разному). Эта церковь была основана в 1534 г., когда английский король Генрих VIII особым Актом о верховенстве отделил церковь в своем государстве от римско-католической церкви и провозгласил себя ее главой, присвоил себе все папские прерогативы и конфисковал церковные земли. Англиканская церковь окончательно сформировалась к сер. XVII в.; сохранив многие догматы и обряды католицизма, она считала себя протестантской и очень враждебно – особенно в XVII–XVIII вв. – относилась к католицизму. Ее построение строго иерархическое: во главе нее стоит король, назначающий епископов, которые, как и священники, получают жалованье от государства.

³⁹ ... все великие люди, имена которых я только что назвал, сами были сыновьями королей, а то и потомками богов или богинь... – Родителями Ахилла были смертный Пелей и богиня Фетида. *Отец Александра* – Филипп II Македонский (ок. 382–336; царь с 359 г. до н. э.); превратил маленькое полуварварское царство Македонию в мощную военную державу, многими своими победами добился гегемонии над городами-государствами Эллады, организовал в 337 г. до н. э. Панэллинский (т. е. Всегреческий) союз во главе с собой и объявил от имени всей Греции священную войну Персии в ответ на обиды за греко-персидские войны. Война должна была начаться в следующем году, но неожиданно Филипп был убит на свадьбе своей

поряжение солдат и деньги, необходимые для завоевания Трояды⁴⁰ Индии, Галлии, Саксонии или Святой земли, в то время как я был сын простого пастора, чье жалование составляло пятьдесят фунтов стерлингов,⁴¹ чье влияние на человеческие души было весьма значительным, но влияние на поступки людей – очень и очень ограниченным.

Следовательно, мне предстояло стать великим человеком вовсе не в качестве завоевателя.

Стану ли я великим, идя по стезе Апеллеса,⁴² и Зевксиды⁴³ художников античности, или Леонардо да Винчи,⁴⁴ и Рафаэля⁴⁵ живописцев средних веков?

дочери. Убийца утверждал, что он действовал из личной мести, кое-кто подозревал самого Александра, но тот заявил, что руку убийцы направляла Персия, и, подчинив своей воле греческие города, восставшие было против македонского господства, начал поход на Восток во исполнение воли отца и в отпущение за его смерть. Про самого Александра шли слухи, что он был сыном Зевса, проникшего к его матери в образе змеи. Уже во время своего похода на Восток Александр объявил себя сыном верховного египетского бога Амона. Римский патрицианский род Юлиев, к которому принадлежали и основатели Рима Ромул и Рем, а позднее Юлий Цезарь, возводил свой род к Юлу, сыну Энея, который считался сыном троянца Анхиса и богини любви и красоты Афродиты. *Отец Карла Великого* – Пипин Короткий (714/715 – 768), король франков, первый из династии Каролингов; с 747 г. был майордомом (правителем) франкского государства, но в 751 г. с согласия папы низложил последнего короля из династии Меровингов и сам стал королем франков; стремился к восстановлению Западной Римской империи. *Отец короля Ричарда Львиное Сердце* – Генрих II Плантагенет (1133–1189), английский король с 1154 г., до этого граф Анжу; с помощью удачного брака приобрел значительные владения во Франции; в Англии укрепил королевскую власть; издал множество важных законов, ввел всеобщую воинскую повинность для свободных людей и положил основание суду присяжных; начал завоевание Ирландии и Уэльса.

⁴⁰ ... получали в свое распоряжение солдат и деньги, необходимые для завоевания Трояды, Индии, Галлии, Саксонии или Святой земли ... – Трояда – в древности область на северо-западе Малой Азии вокруг города Троя, по которой протекает река Скамандр и ее правый приток Симоис; простиралась до побережья Эгейского моря и пролива Геллеспонт. Троя (Илион) – древний город, основанный на рубеже IV и III тыс. до н. э.; был важным политическим и экономическим центром региона, а во II тыс. до н. э. – столицей самостоятельного царства; получил известность благодаря древнегреческим мифам и эпическим поэмам Гомера. Эти предания были в основном подтверждены археологическими раскопками кон. XIX и 30-х гг. XX в. После войны с греками Троя возродилась и просуществовала до раннего средневековья, но не достигла прежнего могущества. Поход Александра Македонского в Индию, совершенный в 327 г. до н. э., имел своей целью завоевание всех известных в те времена восточных стран. Из Средней Азии царь проник через Афганистан на северо-запад Индостанского полуострова в Пенджаб и одержал победу над государством Пуру. Однако затем его воины отказались идти дальше. Часть его армии спустилась на построенных для этого кораблях по Инду в Индийский океан и проплыла в Персидский залив к устью Тигра и Ефрата. Другая часть прошла туда же сухим путем через южные области современного Пакистана и Ирана. Таким образом Запад вступил в соприкосновение с восточным миром, а Греция установила непосредственные связи с Индией. Галлия – в древности земли, населенные кельтскими племенами галлов; занимала территорию современной Франции, Западной Швейцарии и Бельгии, а также Северной Италии до реки По; к I в. до н. э. была полностью завоевана римлянами под предводительством Юлия Цезаря, обращена в римскую провинцию и романизирована; в V в. ее покорили германские племена франков. Саксония – здесь имеется в виду т. н. Нижняя Саксония, область, лежащая между нижними течениями Рейна и Эльбы на северо-западе Германии и завоеванная Карлом Великим в 772–804 гг.; покорение саксонцев сопровождалось их насильственной христианизацией, массовыми избиениями населения и другими жестокостями. Святая земля – так в средние века называли Палестину, поскольку она была главной ареной событий, описанных в Священном писании Ветхого завета, а также связанных с проповедью Христа и его мученической смертью. Здесь имеется в виду одна из военно-колонизационных экспедиций западноевропейских феодалов на Ближний восток – третий крестовый поход 1189–1192 гг., предпринятый с целью отвоевать у мусульман занятый ими в 1187 г. Иерусалим. Поход увенчался только частичным успехом – завоеванием крепости Акра и острова Кипр; Иерусалим же остался во власти мусульман. Ричард Львиное Сердце вместе с французским королем Филиппом II Августом был предводителем этого похода. После захвата Кипра и образования там королевства он заключил в 1192 г. мир с мусульманами, по которому Иерусалим остался за ними, а крестоносцы сохранили за собой лишь узкую полосу побережья на Средиземном море.

⁴¹ Фунт стерлингов – основная денежная единица Англии, равная до второй пол. XX в. 20 шиллингам; первоначально существовал только в виде счетных денег и равнялся одному фунту чистого серебра, основной же монетой был серебряный пенс, весивший одну двестисороковую часть фунта; денежным знаком стал фактически с 1694 г. после выпуска Английским банком соответствующих банкнот; в XIX в. ходили также золотые фунты – соверены.

⁴² Апеллес – знаменитый греческий художник второй пол. IV в. до н. э., мастер монументальной живописи; родился в Колофоне; был придворным художником Александра Македонского; наиболее известные его картины: «Афродита Анадиомена», портрет Александра в образе Зевса и аллегория «Клевета»; произведения его не сохранились.

⁴³ Зевксид – греческий художник кон. V – нач. IV в. до н. э. из Гераклеи в Южной Италии; считается одним из изобретателей приема светотени в живописи; среди его произведений, из которых ни одно не сохранилось, особой известностью пользовалась картина, изображавшая семью кентавров.

⁴⁴ Леонардо да Винчи (1452–1519) – гениальный итальянский художник, скульптор, ученый, инженер; в 1515 г. по просьбе короля Франциска I переехал во Францию.

⁴⁵ Рафаэль, Санти (1483–1520) – итальянский художник и архитектор, представитель (и, по мнению большинства крити-

Здесь я должен заметить, что к живописи я не испытывал такого отвращения, как к войне. Напротив, я от всей души восхищался ею и весьма почитал Апеллеса, Зевксйда, Леонардо да Винчи и Рафаэля.

Но мало воскликнуть вслед за Корреджо:⁴⁶ «Я тоже художник!» («Anch'io son' pittore!»)⁴⁷ – надо еще найти мастерскую и учителя.

Не всякий Джотто,⁴⁸ рисующий овцу на грифельной доске, пока пасется его стадо, встречает Чимабуэ,⁴⁹ который заставляет его поверить в свое призвание художника.

Для того чтобы стать художником, и художником знаменитым, необходимо длительное терпеливое учение, пребывание в большом городе – центре культуры, а мы живем в бедной деревеньке в Ноттингемшире!⁵⁰

Так что не на поприще живописи я смогу стать великим человеком и обстоятельства вынуждают меня отказаться от нее, как я уже отказался от мысли о завоеваниях.

Так не суждено ли мне пойти по стопам Гомера, Вергилия, Данте, Петрарки, Тассо и Попа?

О, вот это совсем иное дело! Я видел в нем не только мое призвание, но и его доступность.

Ведь, в конце концов, поэзия – дочь одиночества, и почти всегда ее крестной матерью является бедность.

Чтобы стать поэтом, не нужны учителя, нужны только прекрасные образцы. Чтобы завершить образование живописца, не хватит года, не хватит пяти, а порой и десяти лет, в то время как любому известно, что поэтами рождаются. Следовательно, если я имел счастье родиться поэтом, а я в этом счастье не сомневался, то, значит, вся моя задача – расти и расцветать; самое трудное мое дело уже позади, поскольку я уже родился!

Что касается требуемых в этом деле материалов, они больших затрат не предполагали: перо, чернила и бумага, а в остальном дело за вдохновением.

Итак, я решил, что стану великим человеком, следуя примеру Гомера, Вергилия, Данте, Петрарки, Тассо и Попа.

Как только это решение было принято, я дал себе слово выполнять его, не теряя напрасно ни минуты. Я попросил у отца денег на покупку необходимых для нового дела принадлежностей, и мой отец, радуясь проявившейся у меня склонности к труду, чего он так нетерпеливо ожидал, торжественно извлек из кармана шиллинг⁵¹ и вручил мне его; на шиллинг я купил чистую тетрадь, связку перьев и бутылку чернил.

С этого дня, дорогой мой Петрус, вершиной славы мне представлялось воплощение моих идей в неравных по длине строках, напечатанных на страницах книги в сафьяновом переплете или хотя бы в простой бумажной обложке, ведь, хотя я и предпринимал некоторые попытки

ков, ценителей и просто любителей искусства, один из самых великих) Высокого Возрождения.

⁴⁶ Корреджо (настоящее имя – Антонио Аллегри; ок. 1489–1534) – итальянский художник эпохи Возрождения, взявший себе псевдонимом название родного города; автор многочисленных фресок и картин, преимущественно на религиозные и мифологические сюжеты; его работы отличаются светским и жизнерадостным характером.

⁴⁷ Восклицание «Я тоже художник!», вырвавшееся у Корреджо при виде картины Рафаэля «Святая Цецилия», иногда называемой «Сикстинская мадонна» (в ряде источников упоминается другая картина Рафаэля), вошло в поговорку как проявление уверенности художника в своем призвании и его мастерстве в той или иной области.

⁴⁸ Джотто да Бондоне (1266/1267 – 1337) – итальянский художник; некоторые исследователи связывают начало итальянского Возрождения в живописи именно с его творчеством, другие считают его предтечей Ренессанса.

⁴⁹ Чимабуэ (настоящее имя – Ченни ди Пеппо; ок. 1240 – ок. 1302) – флорентийский живописец; многие исследователи считают его основоположником флорентийской ренессансной живописи. По свидетельству итальянского художника, архитектора и историка искусств Д.Вазари (1511–1574), Джотто, сына крестьянина, заметил Чимабуэ, когда мальчик-пастух рисовал на камне овцу; после этого Чимабуэ взял его в свою мастерскую.

⁵⁰ Ноттингемшир – графство в Центральной Англии, расположенное по берегам реки Трент; главный город – Ноттингем.

⁵¹ Шиллинг – английская монета и денежно-счетная единица; до сер. XX в. составлял одну двадцатую часть фунта стерлингов и стоил 12 пенсов.

писать в прозе, я всегда отдавал явное предпочтение поэзии, а среди всех ее жанров – поэзии эпической.

Таким образом, в свои тринадцать лет я решил сочинит эпическую поэму.

Но какой же сюжет мне выбрать?..

Конечно же, прекрасен сюжет «Илиады», но им воспользовался Гомер!

Не менее прекрасен сюжет «Энеиды», но его взял Вергилий!⁵²

Прекрасен и сюжет «Божественной комедии», но им завладел Данте!⁵³

Ах, если бы «Освобожденный Иерусалим»⁵⁴ не был написан Тассо, а «Потерянный рай»⁵⁵ – Мильтоном, их сюжеты очень подошли бы для поэмы, задуманной сыном пастора!

Однако Тассо и Мильтону выпала удача родиться одному за двести тридцать пять, а другому за сто двадцать лет до моего появления на свет;⁵⁶ такая их удача нанесла мне непоправимый ущерб, поскольку они воспользовались этой случайностью – родиться раньше – и завладели обоими сюжетами для эпических поэм, единственными сюжетами, какие еще оставались для современных поэтов!..

Ради Бога, не подумайте, дорогой мой Петрус, что я сразу же отказался от борьбы и дрогнул от первого же удара, бежав подобно Горацию и оставив мою честь и мой щит на поле битвы.⁵⁷

Нет, мой друг, нет; напротив, я изо всех своих сил боролся со скудостью истории, с упорством, удивительным для моего возраста, и в книгах, и в собственном воображении разыскивая героя, который не был бы подвергнут поэтическому испытанию моими предшественниками.

Я мысленно проглядывал все века; у каждого знакомого я просил дать мне сюжет, равноценный тем, какие я потерял, явившись в этот мир на два-три столетия позже, чем следовало бы; но из предлагаемых сюжетов один не был национальным, другой противоречил религиозному чувству; одному недоставало особенностей, необходимых для эпической поэмы, то есть драматических отношений между людьми и сверхъестественными существами – богами, духами или демонами; наконец, другой не нравился мне заранее заданной развязкой, требующей, чтобы главный персонаж поэмы был победителем, в то время как мои любимые герои –

⁵² «Энеида» – последнее, позднее и оставшееся не полностью завершенным, но в то же время самое знаменитое произведение Вергилия, создававшееся в 29–19 гг. до н. э. Эта поэма, вершина римской классической поэзии, ставившаяся древними наряду с «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера, посвящена странствованиям и подвигам Энея – союзника троянцев, прародителя основателей Рима, родоначальника рода Юлиев; сюжет ее пронизывает идея об определенном Провидении и управляемом волей богов и судьбы предназначении Рима.

⁵³ Сюжет поэмы Данте «Божественная комедия» – путешествие автора, ее лирического героя, через три части потустороннего мира – Ад, Чистилище и Рай, и этому соответствуют три одноименные части поэмы.

⁵⁴ «Освобожденный Иерусалим» (1575) – христианская героическая поэма Тассо, посвященная первому крестовому походу (1096–1099), оконченная в 1575 г. и полностью вышедшая в свет в 1581 г.; по мысли автора, она должна была воодушевлять христиан на борьбу против мусульман и прежде всего против экспансии Турции в Европе.

⁵⁵ «Потерянный рай» («Paradis lost»; 1667) – поэма английского поэта и публициста Джона Мильтона (1608–1674), написанная на библейский сюжет и воплотившая многолетние размышления автора о королевской власти, церкви и ее морали, религии, о праве народа на борьбу с тиранией, а также его наблюдения над событиями Английской революции XVII в., участником которой он был.

⁵⁶ Явная ошибка в расчетах: Тассо появился на свет за 184 года до рождения главного героя романа (1728).

⁵⁷ Квинт Гораций Флакк (65–8 до н. э.) – римский поэт, считающийся одним из трех величайших поэтов эпохи Августа (наряду с Вергилием и Овидием). Первая половина жизни Горация была весьма бурной. Сын вольноотпущенника, он был пламенным республиканцем и после убийства Цезаря принял участие в гражданской войне, находясь в войске убийцы Цезаря – Марка Юния Брута. Республиканцы потерпели сокрушительное поражение в 42 г. до н. э. в битве при Филиппах; Брут покончил с собой, Гораций бежал с поля боя и, воспользовавшись амнистией, вернулся в Италию. Там он познакомился с Меценатом, и тот представил его Августу. Гораций вполне искренне перешел на сторону императора, которому был благодарен за прекращение гражданских смут. В своих стихах, написанных после возвращения на родину, Гораций прославлял спокойную мирную жизнь. В стихотворении «К Помпею Вару» (Оды, II, 7) Гораций писал, что в бою он «бежал, нечестно бросаю щит» (пер. А.С.Пушкина). В переводе Б.Пастернака: Ты был со мною в день замешательства, Когда я бросил щит под Филиппами, И, в прах зарыв покорно лица, Войско сложило свое оружье.

Гектор,⁵⁸ Турн,⁵⁹ Ганнибал,⁶⁰ Видукинд,⁶¹ или Гарольд⁶² – вместо того чтобы побеждать, оказывались побежденными.

На чистых страницах моей тетради я великолепным каллиграфическим почерком написал больше двадцати заглавий, но после упомянутых выше размышлений я никак не мог продвинуться дальше заглавия, и, поскольку нарастающее разочарование заставляло меня разрывать листок с заглавием и на следующей странице писать новое, получилось так, что через пять лет, как раз в день моего рождения, в тот же самый час, когда время оторвало последний день от моего восемнадцатого года, я вырвал последний листок из моей тетради.

С этой минуты я пришел к убеждению, что у меня нет возможности стать великим человеком в качестве творца эпической поэмы: я обладал всем необходимым, чтобы сочинить ее, но не хватало всего-навсего сюжета.

Оставалась поэзия драматическая.

Конечно, упоминавшиеся выше имена, пусть даже самые блистательные, вовсе не были единственными, что сияли на небесах прошлого.

Рядом с именами великих эпических поэтов пылали имена Эсхила,⁶³ Софокла,⁶⁴ Еврипида,⁶⁵ Аристофана,⁶⁶ Плавта,⁶⁷ Шекспира,⁶⁸ Корнеля,⁶⁹ Мольера!⁷⁰ и Расина⁷¹

⁵⁸ Гектор – старший из сыновей троянского царя Приама, брат Париса; главный воин троянцев, павший от руки Ахилла; вошел в позднейшие предания как образец патриота.

⁵⁹ Турн – согласно римской легенде и «Энеиде» Вергилия, царь италийского племени рутулов, соперник Энея, убитый героем.

⁶⁰ Ганнибал (247/246–183 до н. э.) – карфагенский полководец и государственный деятель, непримиримый враг Рима; внес большой вклад в развитие военного искусства; с 225 г. до н. э. командовал карфагенской конницей в Испании; с 221 г. до н. э. главнокомандующий карфагенской армией; в 219 г. до н. э. спровоцировал Вторую Пуническую войну (218–201 до н. э.), напав на союзников Рима; в 218 г. до н. э. с большой армией перешел через Альпы и, вторгнувшись в Цизальпинскую Галлию и Италию, одержал ряд побед; в 216 г. до н. э. победил в знаменитой битве при Каннах; с 212 г. до н. э. уступил римлянам инициативу в войне; в 207 г. до н. э. шедшая на помощь Ганнибалу армия его брата была разгромлена; в 203 г. до н. э. отозван на родину для ее защиты от высадившейся в Африке римской армии; в битве при Заме (202 до н. э.) был полностью разбит римлянами, что вынудило Карфаген принять условия мира, предложенные противником; после войны возглавлял управление Карфагеном; в 195 г. до н. э., подозреваемый римлянами в подготовке новой войны, бежал в Сирию к царю Антиоху III и стал его военным советником; после поражения Антиоха в войне с Римом победители потребовали выдать им Ганнибала, вынудив его тем самым искать убежища в Армении, а затем в Вифинии; узнав, что вифинский царь готов выдать его Риму, карфагенский полководец принял яд.

⁶¹ Видукинд (ум. после 785 г.) – саксонский вождь, вступивший в упорную борьбу с Карлом Великим (778), но в конечном счете потерпевший поражение и принявший крещение.

⁶² Гарольд II (ок. 1022–1066) – король Англии (1066); сын могущественного английского вельможи Годвина (7 – 1053); оказывал поддержку английскому королю Эдуарду I Исповеднику и после его смерти, избранный знатью, занял трон, возглавил сопротивление норманнским завоевателям, но был разбит в битве при Гастингсе нормандским герцогом Вильгельмом Бастардом и погиб на поле боя.

⁶³ Эсхил (ок. 525–456 до н. э.) – древнегреческий поэт и драматург периода подъема афинской демократии; был прозван «отцом трагедии», поскольку он превратил ее из обрядового действия в драматический жанр.

⁶⁴ Софокл (ок. 496 – ок. 406 до н. э.) – великий древнегреческий драматург и трагический поэт; автор 123 драм, из которых полностью до нас дошло лишь семь; отразил в своих произведениях все основные циклы греческих преданий; внес некоторые новшества в технику трагедий.

⁶⁵ Еврипид (ок. 480–406 до н. э.) – знаменитый древнегреческий драматург; жил в Афинах, был близок к демократическим кругам; написал более 90 трагедий (из них большую часть составляют тетралогии), но до нас дошли лишь 17; пользовался чрезвычайно большой известностью; писал на сюжеты мифологии, но приспособлял их содержание к злободневным событиям жизни, проявляя при этом большой интерес к внутреннему миру человека.

⁶⁶ Аристофан (ок. 445–ок. 385 до н. э.) – древнегреческий поэт-комедиограф, прозванный «отцом комедии»; в своих произведениях, как правило, откликался на злободневные проблемы своей эпохи; защищал интересы аттического крестьянства; иногда прибегал к элементам утопии; выступал с критикой ученых, судей, политиков своего времени; ему приписывают 44 комедии, из которых полностью сохранилось 11.

⁶⁷ Плавт, Тит Макций (ок. 250 – ок. 184 до н. э.) – выдающийся римский комедиограф; был близок к демократической оппозиции сенатской олигархии; перерабатывал применительно к римским условиям греческую комедию; карикатурно изображал состоятельную рабовладельческую среду; написал 31 пьесу, из которых полностью сохранилось 20.

⁶⁸ Шекспир Уильям (1564–1616) – великий английский драматург и поэт, автор трагедий, комедий, поэм и сонетов.

⁶⁹ Корнель, Пьер (1606–1684) – крупнейший французский драматург, представитель классицизма; родился в Руане;

Почему бы мне в таком случае не стать поэтом драматическим?

Правда, в Бистоне у меня не было бы ни театра, ни актеров, ну и что же? Я поступил бы так, как поступал Софокл, который вынашивал замыслы, обдумывал и писал свои трагедии в стихах в Колоне,⁷² а завершив, ставил их на сцене в Афинах;⁷³ я поступил бы так, как поступал Корнель, который вынашивал замыслы, обдумывал и писал свои трагедии в Руане, а чтобы поставить их на сцене, отправлялся в Париж⁷⁴ – я вынашивал бы замыслы, обдумывал и писал свои творения в Бистоне, а ставить их ехал бы в Лондон.

Скажу больше: только ради того, чтобы быть уверенным в правильной трактовке своего замысла, я по примеру Шекспира и Мольера мог бы сам ставить мои пьесы и играть в них.

Правда, последнее несколько отталкивало меня: однажды я видел в Ноттингеме странствующих комедиантов, и разница между этими достойными актерами и цыганами, которых я чуть раньше встретил на дороге, совсем не показалась мне значительной; однако следует отметить, что, если эти комедианты играли в пьесах, не будучи их авторами, у меня все обстояло бы совсем иначе, и я заслужил бы собственное уважение, играя роли в моих же пьесах.

Но, в этом случае мне пришлось бы убеждать моего достопочтенного родителя в том, чтобы он спокойно взирал на своего единственного сына, поднимающегося на подмостки, а это – на сей счет я ничуть не сомневался – представило бы немалую трудность; впрочем, через какое-то время я смог бы его переубедить.

Главное было взяться за сочинение, а завершив его, я, возможно, нашел бы среди лучших лондонских актеров человека, достойного воплотить мою пьесу на сцене; если бы не нашелся такой – что ж! – мне оставалось бы произнести возвышенное слово Сенеки и Корнеля в «Медее», слово столь возвышенное, что им смогли воспользоваться они оба!⁷⁵

учился в иезуитском коллеже, изучал право, стал адвокатом; дебютировал на сцене комедией «Мелита, или Подложные письма» (1629), поставленной с большим успехом в Париже; трагикомедия «Сид» (1636), написанная на тему конфликта любви и долга, принесла ему славу величайшего писателя своего времени; его длительная и плодотворная карьера драматурга – автора трагедий, комедий и трагикомедий – дважды прерывалась на несколько лет, а в 1674 г., после провала его пьесы «Сурена», он окончательно отошел от театра; среди самых известных его произведений, кроме «Сиды», – трагедии «Гораций», «Цинна, или Милосердие Августа», «Полиевкт», «Родогуна», «Никомед».

⁷⁰ Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен; 1622–1673) – знаменитый французский драматург, актер, театральный деятель; автор бессмертных комедий, из которых наибольшей известностью пользуются «Дон Жуан», «Скупой», «Тартюф» и др.; сочетая традиции народного театра с достижениями классицизма, создал жанр социально-бытовой комедии, высмеивая предрассудки, ограниченность, невежество, ханжество и лицемерие дворян и выскочек-буржуа; проявил глубокое понимание природы человеческих пороков и слабостей; оказал огромное влияние на развитие мировой драматургии.

⁷¹ Расин, Жан (1639–1699) – французский драматург, наряду с П.Корнелем крупнейший представитель классицизма; родился в городке Ла-Ферте-Милон, в департаменте Эна; рано осиротев, воспитывался в знаменитом монастыре Порт-Рояль и получил блестящее образование; первой пьесой, принесшей ему славу, была «Андромаха» (1667); вершиной творчества драматурга является трагедия «Федра» (1677); в том же 1677 г. по ряду причин оставил карьеру драматурга, однако после многолетнего перерыва создал две трагедии на библейские темы: «Эсфирь» (1689) и «Гофолия» («Аталия», 1691).

⁷² Колон – древний город в Аттике, к северо-востоку от Афин, родина Софокла и место его постоянного жительства (за исключением трехлетнего периода, когда, по-видимому, он жил на Сицилии); место действия его трагедии «Эдип в Колоне».

⁷³ Афины – древнегреческий город-государство, известный с мифологических времен; крупнейший центр античной культуры. Навысший политический и культурный расцвет Афин падает на 479–431 гг. до н. э., когда город превратился в центр культурной жизни Греции и стал красивейшим из ее городов.

⁷⁴ Руан – город и порт на севере Франции, на реке Сене, древняя столица Нормандии; ныне административный центр департамента Приморская Сена. П.Корнель жил время от времени то в Париже, куда он приезжал ставить свои пьесы, то в Руане, куда он возвращался порой на много лет после провала своих постановок.

⁷⁵ Медея – в древнегреческой мифологии злая волшебница, дочь царя Колхиды (историческое название Западной Грузии), которая полюбила приехавшего в Колхиду за священным золотым руном героя Ясона, помогла ему добыть это руно, бежала вместе с ним и, чтобы спасти возлюбленного, убила родного брата; когда же Медея, родившая Ясону двух сыновей, узнала, что неверный возлюбленный задумал жениться на дочери коринфского царя, она не только подослала той волшебную одежду, надев которую соперница сгорела заживо, но и убила собственных детей от Ясона, чтобы отомстить ему. История Медеи стала сюжетом многих драматических произведений как эпохи античности, так и нового времени. Сенека, Луций Анней (Младший; ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – древнеримский философ, государственный деятель и писатель; наставник, а затем советник императора Нерона, был принужден к самоубийству своим повелителем; автор нескольких драматических произведений на сюжеты древнегреческой мифологии (трагедий «Медея», «Федра», «Эдип», «Финикиянки», «Геркулес в безумье», «Герку-

Люди, восхищенные моей пьесой и спрашивающие меня: «Но кто же будет играть вашего главного героя?», услышали бы в ответ:

«Я!..»

Кстати, мне не пришлось бы добавить: «Я, и этого достаточно!», ведь сколь ни велика была моя уверенность в себе, я без колебаний признавал, что пьесу с одним-единственным персонажем, растянутую на пять актов, слушать было бы утомительно, как бы ни прекрасны были реплики, как бы ни восхитительны были стихи, и что для пьесы, включающей десять, двенадцать или пятнадцать ролей, мне потребовалось бы девять, одиннадцать или четырнадцать актеров для исполнения второстепенных ролей, и я окружил бы себя сателлитами.

Но ведь заранее понятно, что они всегда оставались бы не более чем сателлитами, а я – всегда светилом!

Все это крепко засело в моем уме, и, решив спуститься с облаков эпической поэмы на вершины трагедии, я вновь прибегнул к щедрости отца, который, хотя и был несколько разочарован бесплодностью моих первых попыток, без колебаний рискнул вторым шиллингом, сразу же израсходованным мной на покупку еще одной тетради, еще одной связки перьев и еще одной бутылки чернил.

И тогда я взялся за новый труд, оказавшийся (вынужден в этом признаться, дорогой мой Петрус) столь же бесплодным, как и предыдущий, ведь с начала мира драматических поэтов существовало еще больше, чем поэтов эпических; отсюда еще большее израсходование сюжетов и еще большая нехватка героев; к тому же поэт эпический сочиняет одну поэму всю свою жизнь, в то время как поэт драматический пишет десять, двадцать, тридцать и даже больше трагедий, о том свидетельствуют Эсхил, создавший сорок трагедий, Софокл, написавший сто двадцать три трагедии, и Еврипид, у которого их число дошло до восьмидесяти четырех!⁷⁶

Читая каталог античных и современных авторов, я с ужасом заметил, что не было ни единой грандиозной катастрофы, которая не послужила бы для них сюжетом, что не было ни единого великого короля или великого полководца, который не стал бы героем какой-нибудь драмы или трагедии! Все пошло в ход: Эсхил, имевший возможность выбирать героев, поскольку явился первым, поднялся до образа Прометея, то есть Титана, творца мира;⁷⁷ Расин, пришедший последним, опустился до образа Баязета, то есть почти до современной истории.⁷⁸

лес Этейский», «Фиест», «Троянки», «Агамемнон») и философских «Нравственных писем к Луцилию». В трагедии Корнелия «Медея» («Мёёе»), написанной в 1635 г. по мотивам одноименной трагедии Еврипида, потрясенные жители Коринфа хотят убить Медею и окружают ее жилище; служанка Медеи Нерина в ужасе спрашивает госпожу, кто же им поможет, и получает ответ: «Moi – dis-je, et c'est assez» (фр. «Я, – говорю я, – и этого достаточно»). Это выражение, нередко в усеченном виде – «Я» («Moi»), – стало поговоркой, означающей, что в безвыходном положении надо надеяться только на себя самого. В трагедии «Медея» Сенеки на слова кормилицы: «Не чаю, где исход, на что надеяться», Медея отвечает: «Кто ничего не чает – не отчаётся».

⁷⁶ Из 90 трагедий Эскила до нас дошло 79 названий его произведений и довольно обширных отрывков, но полностью сохранилось лишь семь его пьес. Из 123 драм, написанных Софоклом, полностью сохранилось лишь семь; от других остались только названия и фрагменты. Еврипидом было написано 92 трагедии; сохранилось 17 его трагедий и одна драма сатиров.

⁷⁷ Прометей – в древнегреческой мифологии титан (бог старшего поколения), благородный герой и мученик; похитил для людей огонь, научил их чтению и письму, ремеслам, за что был сурово наказан верховным богом Зевсом: он был прикован к скале на Кавказе, и каждый день орел прилетал терзать его печень. Прометею посвящены две трагедии Эскила: «Прикованный Прометей» – одна из поздних его пьес (год ее постановки неизвестен), богоборческое произведение, рассказывающее о том, как слуги Зевса Сила и Власть приковывают Прометея к горам Кавказа за то, что тот отказывается покориться Зевсу и не хочет открыть тайну, от которой зависит царствование Зевса; «Освобожденный Прометей», от которой до нас дошли только содержание и небольшие отрывки, рассказывает об освобождении Прометея героем Гераклом и о примирении его с Зевсом.

⁷⁸ Имеется в виду трагедия Расина «Баязет» («Bajazet»; 1672). Жена султана Амурата, гордая и честолюбивая красавица Роксана, полюбившая своего деверя Баязета (которому султан грозит смертью как возможному претенденту на трон), готова, несмотря на страшный риск, поднять восстание против мужа и, провозгласив султаном Баязета, стать его женой и разделить с ним трон; но, узнав, что она обманулась в чувствах Баязета, любовь которого принадлежит другой женщине, султанша посылает его на смерть. Исторические события, отраженные в этой трагедии, происходили в Турции в 1638 г.

Что касается других, то они собирали свой богатый урожай где попало! Софокл взялся за «Аякса»,⁷⁹ «Филоктета»,⁸⁰ «Антигону»,⁸¹ «Электру»,⁸² «Царя Эдипа»,⁸³ «Эдипа в Колоне»;⁸⁴

⁷⁹ «Аякс» (поставлена до 442 г. до н. э.) – трагедия на сюжет утерянной эпической поэмы «Малая Илиада»: после смерти Ахилла доблестный герой Аякс Телемонид рассчитывает получить его доспехи в знак признания своей храбрости, но они достаются Одиссею; оскорбленный герой, видя в этом козни Агамемнона и Менелая, решает убить их, но, находясь в помрачении ума, посланном на него богиней Афродитой, расправляется со стадом овец и коров; придя в себя и сознавая свой позор, он замысливает самоубийство; обманув бдительность своих близких, он уходит на пустынный берег моря и бросается на меч; труп героя находит отправившийся на поиски Аякса его брат Тевкр; полные враждебных чувств к Аяксу, Агамемнон и Менелай не позволяют Тевкру предать погребению тело брата; грозящую вспыхнуть междоусобицу предотвращает Одиссей: он убеждает Агамемнона разрешить погребение Аякса, столь много сделавшего для греков.

⁸⁰ «Филоктет» (поставлена в 409 г. до н. э.) – пьеса на сюжет из той же «Малой Илиады»: Филоктет, отправившийся вместе с другими героями в поход на Трою, был по дороге, около острова Лемнос, ужален змеей; став из-за своей незаживающей зловонной раны обузой для греков, он по совету Одиссея был брошен один на острове, и только с помощью лука и отравленных стрел, подаренных ему в свое время умирающим Гераклом, раненый мог поддерживать свое существование; на десятом году осады Трои греки узнают о предсказании, гласящем, что без Филоктета и стрел Геракла город не будет взят, и тогда Одиссей отправляется на Лемнос вместе с юным сыном Ахилла – Неоптолемом; согласно хитроумному плану Одиссея, юноша должен вкратце в доверие к Филоклету и завладеть его оружием; Неоптолем, хотя и против своей воли, исполняет задуманное, но потом страдания и беспомощность Филоктета заставляют юношу раскаяться в обмане и даже вернуть несчастному его лук и стрелы; сын Ахилла пытается уговорить Филоктета добровольно прийти на помощь грекам, тот наотрез отказывается, но тут перед ним возникает обожествленный Геракл и возвещает своему другу волю богов: Филоктет должен ехать под стены Трои, и там его ждет полное исцеление и воинская слава; после этого Филоктет повинуется.

⁸¹ «Антигона» (ок. 441 г. до н. э.) – трагедия на сюжет фиванского мифологического цикла: после гибели в единоборстве обоих сыновей Эдипа – Этеокла и Полиника – их дядя, царь Креонт, под страхом смерти запретил предавать погребению тело Полиника, так как тот привел иноземное войско против родного город; сестра покойного, Антигона, решает нарушить запрет и совершает похоронный обряд; схваченная стражей, девушка приговорена Креонтом к смерти, несмотря на мольбы ее жениха Гемона (сына царя) и ее сестры Исмены, несмотря на сочувствие горожан; Антигону замуровывают живою в гробнице ее предков, а тем временем слепой прорицатель Тиресий сообщает Креонту, что боги разгневаны на него за нарушение их законов и предрекают гибель всех его близких; долго упорствующий царь, наконец, уступает, сам совершает погребальный обряд над Полиником и идет к гробнице, чтобы освободить Антигону; однако раскаяние его запоздало: внутри гробницы он находит Гемона, оплакивающего повесившуюся невесту; Гемон убивает себя на глазах отца; узнав о смерти сына, кончает с собой и супруга Креонта; сломленный горем царь предается отчаянию.

⁸² «Электра» (дата постановки неизвестна) – трагедия о мщении убийцам царя Агамемнона его дочерью, по сюжету сходная с «Хоэфорами» Эсхила; однако, в отличие от пьесы Эсхила, в которой главное действующее лицо – Орест, сын царя, здесь в центре событий Электра, сестра Ореста, ее страдания, ее противостояние преступной матери и Эгисфу – убийцам любимого отца, ее несгибаемая воля к мщению.

⁸³ «Царь Эдип» (поставлена ок. 425 г. до н. э.) – первая (в развитии сюжета) из софокловских трагедий фиванского цикла: благополучное царствование в Фивах Эдипа, мудрого правителя и счастливого мужа и отца (юношей он пришел когда-то в Фивы, спас город от страшного чудовища Сфинкса, после чего был избран царем и стал супругом вдовой царицы Иокасты), внезапно омрачается страшным мором; оракул возвещает, что причина бедствия – пребывание в стране убийцы прежнего царя – Лая; Эдип, искренне желающий спасти своих подданных от нового бедствия, начинает розыски преступника: он призывает найти и привести к себе единственного свидетеля убийства Лая и обращается за помощью к слепому прорицателю Тиресию; для вешего старца нет тайн ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, и ему известно, что общепринятая версия гибели Лая от рук разбойника – ложь, что много лет назад покойный царь, чтобы обезопасить себя от предсказанной ему смерти от руки родного сына, приказал бросить новорожденного младенца на съедение зверям, но при этом все равно избежал своей судьбы: младенец уцелел и был усыновлен бездетным коринфским царем Полибом; возмужав и усомнившись в своем происхождении, молодой человек отправился к оракулу в Дельфы, где, к своему ужасу, узнал, что ему суждено убить родного отца и жениться на собственной матери; решив не возвращаться в Коринф к тем, кого он считал своими родителями, Эдип пустился в скитания; первая же выбранная им дорога вела в Фивы, и на ней в узком ущелье он столкнулся с колесницей, на которой ехал величественный старец в сопровождении слуг; в последовавшей затем ссоре оскорбленный Эдип, отвечая ударом на удар, убил старика и перебил в гневе его свиту, так и не узнав, что это был фиванский царь Лай, направлявшийся в Дельфы, дабы спросить оракула, как спастись от страшного Сфинкса; так, неведомо для обоих, произошла встреча отца и сына; Тиресий, знающий все это, долго отказывается отвечать на вопросы ничего не подозревающего Эдипа, понимая, что царь вступает на путь, где его ждут страшные открытия и окончательный крах; наконец, гневные упреки Эдипа вынуждают прорицателя открыть правду: убийца – сам Эдип; упоминает он и о происхождении Эдипа, но недосказанно, намеками; ошеломленный Эдип сначала воспринимает слова Тиресия как результат козней своего шурина Креонта, желающего захватить его трон; но постепенно в душу царя закрадываются сомнения: он вспоминает убитого им когда-то на дороге почтенного старца; Иокаста пытается всячески успокоить мужа, но появление вестника из Коринфа ускоряет события: он сообщает о смерти царя Полиба и при этом открывает, что Эдип лишь приемный сын царя и что он сам когда-то принес младенца Эдипа Полибу, получив его от пастуха царя Лая; появившийся пастух подтверждает, что он из жалости к ребенку нарушил приказ Лая и отдал младенца в чужие руки; окончательно прозревший, наконец, Эдип бросается во дворец, куда незадолго до этого ушла появлявшаяся все раньше мужа Иокаста; он находит ее повесившейся, ослепляет себя и обрекает на изгнание.

⁸⁴ «Эдип в Колоне» (поставлена в 401 г. до н. э.) – продолжение истории царя Эдипа после его изгнания из Фив: после

он собрал столько героев, что в конце жизни ему пришлось использовать дважды один и тот же сюжет; Еврипид взялся за «Гекубу»,⁸⁵ «Алкесту»,⁸⁶ «Медею»,⁸⁷ «Ифигению в Авлиде»,⁸⁸ «Ифигению в Тавриде»,⁸⁹ а это служит доказательством, что в конце концов и ему тоже стала грозить нехватка сюжетов, так же как его предшественнику Софоклу; Шекспир взялся за «Гамлета»,⁹⁰ «Макбета»,⁹¹ «Ричарда II»,⁹² «Ричарда III»,⁹³ «Юлия Цезаря»,⁹⁴ «Кориолана»,⁹⁵

долгих странствий слепой Эдип в сопровождении своей преданной и любящей дочери Антигоны приходит в селение Колон близ Афин, где находит покровительство у царя Тесея; однако его покой смущают известия из Фив, – принесенные второй дочерью Эдипа – Исменой: между его сыновьями Этеоклом и Полиником началась междоусобица; узнав о предсказании, что победу одержит тот, на чьей стороне будет Эдип, враждующие братья будут стараться завладеть слепым скитальцем; вскоре появляется Креонт, правящий Фивами вместе с Этеоклом, но его уговоры безуспешны, а его попытку действовать силой пресекает Тесей; затем приходит Полиник: отправляясь в поход против брата, он хочет заручиться благословением отца; однако Эдип отказывает ему и проклинает обоих сыновей, забывших когда-то свой долг перед отцом и думавших только о личной власти; после ухода Полиника Эдип слышит зов богов, прощается с дочерьми и вместе с Тесеем уходит в священную рощу Эвменид, где и находит вечное упокоение.

⁸⁵ «Гекуба» (поставлена ок. 424 г. до н. э.) воспроизводит эпизод, последовавший за взятием Трои: греческое войско оставалось на фракийском берегу Геллеспонта; у вдовы Приама, царицы Гекубы, ставшей пленницей Агамемнона, отнимают дочь Поликсену и приносят ее в жертву тени Ахилла (которому она когда-то была обещана в жены); кроме того, Гекубе становится известно, что ее младший сын Полидор предательски убит фракийским царем Полиместором, у которого тот был укрыт от военной опасности; жаждущая мести Гекуба, с согласия Агамемнона, завлекает Полиместора в палатку и там ослепляет его с помощью других рабынь; ослепший предрекает ей, что она в будущем превратится в собаку.

⁸⁶ «Алкеста» («Алкестиды»; поставлена в 438 г. до н. э.) – самая ранняя из сохранившихся пьес Еврипида; ее содержание – история царя Адмета и его любящей жены: некогда боги обещали Адмету отсрочить его смерть, если в час ее прихода кто-нибудь согласится заменить его; смерть приходит, но никто, включая его престарелых родителей, не хочет добровольно умереть за царя; на это решается, к отчаянию Адмета, только его молодая прекрасная супруга Алкестиды; во время подготовки к ее похоронам в охваченный горем царский дом приходит друг Адмета Геракл; из чувства гостеприимства царь старается скрыть от него происшедшее и велит устроить для пришельца пышный пир; весело пирующий Геракл случайно узнает от раба о несчастье друга, отправляется к могиле царицы, вступает в единоборство с богом смерти Танатом и, победив его, требует вернуть к жизни Алкестиду; Танат соглашается, и Геракл приводит ее обратно к мужу.

⁸⁷ «Медея» (поставлена в 431 г. до н. э.) написана на широко распространенный мифологический сюжет.

⁸⁸ «Ифигения в Авлиде» была поставлена в Афинах в 405 г. до н. э., после смерти автора, и получила первую награду. Действие ее происходит в стане греков под городом Авлида перед их походом на Трою. Богиня охоты Артемида разгневалась на Агамемнона и послала грекам противный ветер. Жрец Калхант передал грекам волю богов: необходимо принести дочь Агамемнона Ифигению в жертву Артемиде, лишь тогда Троя будет взята и разрушена. После долгих раздумий Агамемнон подчиняется воле богов и призывает к себе дочь под предлогом ее замужества с Ахиллом. Ифигения прибывает в Авлиду, узнает правду, проклинает Париса, Елену, раздор между богинями и свою судьбу, но во имя родины готова принести себя в жертву. Однако по воле Артемиды героиня растворяется в воздухе, а вместо нее на жертвеннике оказывается горная лань.

⁸⁹ Трагедия «Ифигения в Тавриде» (дата ее постановки неизвестна) написана Еврипидом в последние годы его творческой деятельности. Чтобы искупить убийство матери, Орест, сын Агамемнона, должен привезти из Тавриды изваяние Артемиды, то есть совершить весьма опасный подвиг, поскольку всех пришельцев тавры приносят в жертву. В Тавриде Орест и его друг Пилад встречают Ифигению, которая к этому времени стала жрицей кровавого местного культа Артемиды и должна принести в жертву всякого чужестранца, захваченного на этой земле; брат и сестра узнают друг друга, Ифигении удается усыпить бдительность тавров, и, захватив изображение богини, они все вместе бегут на родину.

⁹⁰ «Гамлет, принц Датский» («Hamlet, prince of Denmark», 1600) – несомненно самая знаменитая трагедия Шекспира, допускающая множество трактовок сюжета и поставленная во всех крупнейших театрах мира.

⁹¹ «Макбет» («Macbeth», 1605) – трагедия, в которой Шекспир достигает вершины трагизма, изображая борьбу честолюбца за королевскую власть.

⁹² «Король Ричард II» («King Richard the second», 1595) – историческая хроника, главным персонажем которой стал Ричард II (1367–1400), английский король в 1377–1399 гг., внук Эдуарда III, последний из династии Плантагенетов; он пытался править, не считаясь с парламентом, и подавлял крестьянское движение в стране; неудачная война в Ирландии привела к тому, что епископы и бароны низложили короля; он был брошен в тюрьму и убит. В этой хронике Шекспира король Ричард II изображен как слабый и взбалмошный тиран, подпавший под влияние фаворитов, расточающий народное богатство, уверенный в божественном происхождении своей власти, убежденный в том, что никто не может требовать у него отчета в его действиях; в результате своего ослепления он лишается престола и погибает жалкой смертью.

⁹³ «Король Ричард III» («King Richard the third», 1592–1593) – историческая хроника, главным персонажем которой (как и другой пьесы Шекспира – «Король Генрих VI») является Ричард III (1452–1485), английский король (с 1483 г.) из династии Йорков; до вступления на престол он носил титул герцога Глостера, принимал деятельное участие в борьбе за престол против соперничавшей династии Ланкастеров, в конце концов потерпел поражение и пал в бою; исторической традицией и Шекспиром он изображается как злодей, достигший престола после целой серии убийств и предательств, однако, по мнению некоторых исследователей, это был один из самых способных английских королей, храбрый воин и талантливый администратор; слухи о его преступлениях весьма преувеличены в сочинениях сторонников дома Ланкастеров. Краткий сюжет трагедии

«Короля Лира»,⁹⁶ «Генриха VIII»,⁹⁷ «Тита Андроника»,⁹⁸ «Перикла»,⁹⁹ «Антония и Клеопатру»,¹⁰⁰ – так что в свою очередь в одно прекрасное утро он обнаружил, что ему не хватает исторических героев, и, поскольку история была исчерпана его предшественниками, обратился к собственному воображению, послушному и плодотворному; оно подарило драматургу «Отелло»¹⁰¹ «Венецианского купца»,¹⁰² «Двух веронцев»,¹⁰³ «Ромео»,¹⁰⁴ «Фальстафа»,¹⁰⁵ «Просперо»...¹⁰⁶ Что еще я помню?.. Корнель взялся за «Сиду»,¹⁰⁷ «Горация»,¹⁰⁸ «Цинну»,¹⁰⁹

таков. Честолюбивый Ричард (в начале пьесы он еще герцог Глостер) вопреки всем препятствиям прокладывает себе путь к престолу, убивает своего брата Кларенса и своих племянников, малолетних детей короля Эдуарда IV; воцарившись на троне, он правит, вселяя в подданных страх и сея вокруг себя ненависть; против власти тирана вспыхивает мятеж, во главе которого становится граф Ричмонд, и в битве при Босворте восставшие одерживают победу над королем, который гибнет на поле боя. В ночь накануне решающей битвы Ричард III видит во сне тени своих жертв, проклинающие его; эти зловещие предзнаменования оправдываются на следующий день, когда, видя свое поражение, он произносит ставшие знаменитыми слова: «Коня, коня! Престол мой за коня!»

⁹⁴ «Юлий Цезарь» («Julius Caesar», 1599) – политическая трагедия, в которой выявляется контраст между величием гибнущих персонажей и посредственностью оставшихся в живых.

⁹⁵ «Кориолан» («Coriolanus», 1607) – трагедия, сюжет которой Шекспир почерпнул у древнегреческого историка Плутарха и героем которой стал Гней Марций Кориолан (V в. до н. э.), римский патриций, отличившийся при осаде города племени вольсков Кориолы и получивший за это свое прозвище; ярый враг плебеев, он во время затруднений с продовольствием предложил повысить цену на хлеб, продаваемый плебеем из государственных житниц; возбуждение плебеев вынудило его бежать к вольскам, и во главе их он двинулся на Рим, однако настояния римских женщин во главе с матерью и женой Кориолана вынудили его отступить, за что вольски побили его камнями.

⁹⁶ «Король Лир» («King Lear», 1606) – одно из величайших произведений Шекспира, посвященное трагедии разочарования и измены.

⁹⁷ «Король Генрих VIII» («King Henry the eighth», 1613) – одна из поздних исторических хроник Шекспира, главным содержанием которой являются гнусные придворные интриги, предшествовавшие проведению реформации в Англии.

⁹⁸ «Тит Андроник» («Titus Andronicus», 1593) – ранняя псевдоисторическая «кровавая» трагедия Шекспира на сюжет из истории Древнего Рима, насыщенная описанием вероломства, жестокости и убийств, которые происходят на фоне полностью вымышленных событий поздней истории Рима; вымышленной фигурой является и ее заглавный персонаж – римский государственный деятель и полководец Тит Андроник.

⁹⁹ «Перикл, царь Тирский» («Pericles», 1608) – романтическая драма, написанная Шекспиром вместе с несколькими авторами; сюжет ее заимствован из какой-то старой пьесы; действие происходит в эллинистических государствах Передней Азии накануне нашей эры; заглавный ее герой, царь Тирский, – вымышленное лицо.

¹⁰⁰ «Антоний и Клеопатра» («Antony and Cleopatra», 1606) – пьеса, входящая в группу античных трагедий Шекспира; действие разворачивается на фоне борьбы за власть в Риме и гибели Римской республики. Марк Антоний (82–30 до н. э.) – римский политический деятель и полководец, сторонник Цезаря; обладал великолепной внешностью, большой физической силой и бурным темпераментом; вместе с тем был известен своим распутством, безобразным пьянством и необыкновенным расточительством; после убийства Цезаря пытался стать его преемником; для осуществления этих замыслов, будучи женатым, женился на царице Египта Клеопатре, поскольку ему были нужны ее богатства и власть; покончил жизнь самоубийством после поражения в борьбе с Октавианом, будущим императором Августом. Клеопатра VII (69–30 до н. э.) – царица Древнего Египта; славилась своим умом, образованностью, красотой и любовными похождениями; в борьбе за престол использовала помощь правителей Рима Юлия Цезаря и Марка Антония; потерпев поражение в борьбе с Октавианом, лишила себя жизни, чтобы не стать его пленницей.

¹⁰¹ «Отелло, Венецианский мавр» («Othello, the Moor of Venice», 1604) – одна из самых выдающихся трагедий Шекспира; сюжет ее, заимствованный из итальянской литературы XVI в., обработан автором как драма обманутой любви и доверия.

¹⁰² «Венецианский купец» («The Merchant of Venice, 1596») – пьеса, посвященная темам любви, коварства и национальной вражды.

¹⁰³ «Два веронца» («The Two Gentlemen of Verona», 1594) – романтическая комедия о любовных приключениях двух друзей; относится к раннему периоду творчества Шекспира.

¹⁰⁴ «Ромео и Джульетта» («Romeo and Juliet», 1594–1595) – первая зрелая трагедия Шекспира, в которой возвышенная любовь гибнет под тяжестью предрассудков и нелепой вражды.

¹⁰⁵ «Фальстаф» – здесь имеются в виду три пьесы Шекспира разного жанра, которые связаны между собою фигурой их главного героя «жирного рыцаря» сэра Джона Фальстафа, хвастуна, балагура и пьяницы. К ним относятся исторические хроники «Король Генрих IV» (часть I; 1597) и «Король Генрих IV» (часть II; 1598), которые посвящены началу грандиозной феодальной междоусобицы, занявшей в Англии почти весь XV в., и комедия «Виндзорские проказницы» («The Merry Wives of Windsor», 1599), причисляемая к вершинам комедийного творчества Шекспира и посвященная авантюрам и любовным неудачам Фальстафа.

¹⁰⁶ «Просперо» – имеется в виду романтическая драма «Буря» («The Tempest», 1611), написанная в последний период творчества Шекспира; рассказывает о победе справедливости и любви. Просперо – главный герой драмы, бывший герцог, свергнутый с престола и удаленный на необитаемый остров, где он становится волшебником.

«Аттилу»,¹¹⁰ «Сертория»,¹¹¹ «Полиевкта»,¹¹² «Родогуну»,¹¹³ «Помпея»,¹¹⁴ «Ганнибала»;¹¹⁵ и вот тут он испытал такую нехватку сюжетов, что, к большому ущербу для своей славы, принялся за «Пертарита»,¹¹⁶ «Отон»,¹¹⁷ «Сурену»;¹¹⁸ завершив дела с парфянским полководцем,¹¹⁹ драма-

¹⁰⁷ «Сид» («Cid», 1636) – один из шедевров П.Корнеля, трагедия, написанная на сюжет пьесы испанского драматурга Гильена де Кастро (1569–1631) «Юность Сида» (1618) и поставленная на сцене театра Маре 7 января 1637 г. Ее сюжет – конфликт между любовью и долгом, а главный персонаж – Сид Кампеадор (настоящее имя Родриго Диас де Бивар; 1026/1043-1099), испанский рыцарь и военачальник, прославившийся в борьбе с маврами и ставший героем испанской эпической поэмы «Песнь о моем Сиде» (XII в.).

¹⁰⁸ «Гораций» («Horace», 1640) – трагедия, сюжет которой основывается на изложенной римским историком Титом Ливием и ставшей чрезвычайно популярной исторической легенде о том, как судьба Рима некогда решилась в единоборстве трех римских юношей, братьев Горациев, с тремя братьями Куриациями, выставленными соперничающим с Римом городом Альба Лонга. Когда отцу римских воинов, патрицию Горацию, сообщают, что двое его сыновей погибли в бою, а третьему пришлось спастись бегством, суровый старец скорбит не о гибели двух сыновей, а о мнимой трусости третьего (вскоре выясняется, что его бегство было лишь военной хитростью) и грозит покарать его собственной рукой. На вопрос, что же мог тот сделать один против трех, старик отвечает: «Умереть!» (III, 6). Трагедия посвящена, как и «Сид», теме конфликта между долгом и любовью.

¹⁰⁹ «Цинна, или Милосердие Августа» («Cinna ou la Clemence d'Auguste», 1640) – трагедия на заимствованный у Сенеки сюжет из истории Древнего Рима о заговоре аристократов-республиканцев против императора Августа, великодушно простившего их; навеяна борьбой французской аристократии против политики кардинала Ришелье накануне последнего в истории Франции восстания дворянства против королевской власти – Фронды принцев (1650–1653). В трагедии автор пытается разрешить противоречие между личностью и государством, отдав первенство второму.

¹¹⁰ «Аттила» («Attila», 1667) – трагедия в стихах на излюбленную Корнелем тему истории Древнего Рима, содержащая многочисленные намеки на события современности автора (например, на победы французского полководца принца де Конде, союз Англии и Франции против Голландии и т. д.). Аттила (ум. в 453 г.) – с 434 г. предводитель союза гуннских племен, двигавшихся с Дальнего Востока в Европу; в 40-х и 50-х гг. V в. совершил несколько опустошительных вторжений в Римскую империю. В 451 г. на равнине у города Шалон-сюр-Сон римская армия, состоявшая из галлов и других варварских племен, нанесла поражение гуннам, после чего Аттила отступил за Рейн.

¹¹¹ «Серторий» («Sertorius») – трагедия, впервые поставленная 25 февраля 1662 г. в театре Маре и отражающая период гражданских войн в Древнем Риме во времена Марии и Суллы; в ней слышны отзвуки незадолго до этого закончившейся Фронды. Серторий, Квинт (ок. 123-72 до н. э.) – древнеримский полководец и политик, принадлежавший к сторонникам рабовладельческой демократии и принимавший активное участие в борьбе против аристократической группировки; в 81–72 гг. он возглавил в Испании восстание иберийских племен и приступил к созданию там государства по образцу римской демократии, но был убит заговорщиками.

¹¹² «Полиевкт» («Polyeucte», 1643) – трагедия в стихах; взяв за основу историю одного из первохристиан, армянского мученика, пострадавшего во время гонений 249–259 гг., автор прославляет идеал мужественного самоотречения во имя морального долга и осуждает религиозную нетерпимость, дворцовые интриги, жестокости деспотизма.

¹¹³ «Родогун» («Rodogune», 1645) – трагедия, в которой автор, в отличие от других своих произведений, написанных на темы критических моментов истории, обратился к полузабытой теме династической борьбы в Сирийском царстве во II в. до н. э. Сюжет трагедии – любовное и политическое соперничество возлюбленной сирийского царя пленницы Родогун и его законной жены Клеопатры. В пьесе, которая отличается очень сложной фабулой и герои которой наделены глубокими страстями и противостоящими друг другу волей и разумом, Корнель утрачивает веру в возможность успешной борьбы со злом и фактически призывает к бегству от действительности.

¹¹⁴ «Смерть Помпея» («La Mort de Pompée», 1643) – трагедия П.Корнеля, посвященная предательскому убийству египетским царем римского полководца Помпея (106-48 до н. э.), который бежал в Египет после своего поражения в борьбе с Цезарем за власть над Римом, и последовавшим за этим событиям. Характеры героев трагедии в общем соответствуют исторической правде. Автор осуждает политическую власть, когда она становится самоцелью и средством удовлетворения политического честолюбия, превращаясь в деспотизм.

¹¹⁵ «Ганнибал» («Annibale») – сведений о подобной пьесе у П. Корнеля найти не удалось. Однако перу его брата, Томи Корнеля (1625–1709), принадлежит трагедия «Смерть Ганнибала» («La Mort d'Annibal», 1669).

¹¹⁶ «Пертарит» («Pertharite», 1652) – трагедия П.Корнеля, посвященная придворным интригам и борьбе за власть в Ломбардском королевстве в VII в. (исторический Пертарит – ломбардский король в 661–671 гг., умерший в 686 г.). В этой пьесе ужасы нагромождены до крайности: автор сознательно сгущает краски, преувеличивая до неправдоподобия отрицательные качества и поступки своих героев и отрицая самые естественные человеческие чувства; первая постановка пьесы потерпела провал.

¹¹⁷ «Отон» («Othon», 1664) – трагедия, посвященная борьбе за престол в Риме во время гражданской войны 68–69 гг. Римский полководец Марк Сильвий Огон (32–69) в январе 69 г. организовал убийство императора Гальбы и сам занял трон, но уже летом того же года был свергнут.

¹¹⁸ «Сурена, парфянский полководец» («Suren, general des Parthes», 1674) – стихотворная трагедия П.Корнеля, последняя пьеса великого драматурга; описанные в ней события происходят в Парфянском царстве; она декларирует, что служба государству есть долг для каждого выдающегося гражданина. Свое произведение автор посвятил Людовику XIV.

тург уже не знал, о чем и о ком писать стихами, и кончил тем, что изложил в стихах «Подражание Иисусу Христу»!¹²⁰ Наконец, Расин взялся за «Этеокла и Полиника»,¹²¹ «Александра»,¹²² «Андромаху»,¹²³ «Британика»,¹²⁴ «Беренику»,¹²⁵ «Митридата»,¹²⁶ «Ифигению»,¹²⁷ «Федру»,¹²⁸

¹¹⁹ Парфянское царство – крупное рабовладельческое государство, существовавшее с 250 г. до н. э. по 226 г. н. э. на территории современного Ирака, Ирана, части Пакистана, Афганистана и Средней Азии; возникло в результате освободительного движения народов этого региона против сирийской монархии Селевкидов и представляло собой монархию, цари которой из рода Аршакидов считали себя наследниками древней Персидской державы Ахеменидов; в социально-экономическом отношении то был конгломерат областей и народов, стоявших на самых разных ступенях развития; это государство с переменным успехом вело борьбу с Римом за власть в регионе, в основном за влияние в Армении. Конец Парфянскому царству положило восстание в Персиде, приведшее к созданию государства династии Сасанидов.

¹²⁰ «Подражание Иисусу Христу» – средневековый анонимный религиозный трактат, приписываемый голландскому христианскому мыслителю Фоме Кемпийскому (Томасу Хемеркену; 1380–1471). В книге приводится доказательство бытия Бога, которого автор считает первопричиной и конечной целью сущего. Все сочинение проникнуто духом аскетизма: лежащий во зле мир может спастись только через подражание жизни Христа; ценность имеет лишь праведная жизнь, а не выполнение обрядов; целью жизни должна быть забота о ближних. Трактат был очень рано переведен с латыни на европейские языки (на французский – уже в XV в.) и пользовался исключительным авторитетом среди верующих. Стихотворный перевод «Подражания Иисусу Христу», сделанный П.Корнелем, был издан в 1656 г. и имел большой успех.

¹²¹ «Этеокл и Полиник» – имеется в виду первая пьеса Ж.Расина «Фиваида, или Враждующие братья» («La Thebaïde ou les Freres en-nemis», 1664); написана на сюжет древнегреческого мифа о братоубийственной войне за власть над Фивами двух сыновей царя Эдипа – Этеокла и Полиника.

¹²² «Александр» («Alexandra», 1665) – вторая пьеса Ж.Расина; написана на сюжет, связанный с походом Александра Македонского в Индию и его победой над царем Пором.

¹²³ «Андромаха» («Andromaque», 1667) – трагедия на сюжет древнегреческого мифа троянского цикла; в центре ее – судьба вдовы троянского героя Гектора – Андромахи, ставшей после падения Трои пленницей сына Ахилла, Пирра, который преследует ее своей любовью; разрываясь между верностью памяти мужа и страхом за жизнь своего маленького сына, судьба которого находится всецело в руках царя Пирра, Андромаха, наконец, дает согласие на брак с ним, решив, что сразу после бракосочетания, выслушав клятвы царя, обеспечивающие будущее ее ребенка, она покончит с собой ударом кинжала; однако от осуществления этого рокового намерения ее спасает смерть Пирра: по завершении свадебного обряда его убивают прямо в храме по наущению ревнивой царевны Гермiony, прежней невесты царя, брошенной им ради Андромахи.

¹²⁴ «Британик» («Britannicus», 1669) – трагедия из истории императорского Рима, рисующая образ молодого Нерона, в котором начинает просыпаться жестокий деспот; узнав, что ненавидимый им сводный брат Британик, его вероятный политический противник, является также его соперником в любви, император приказывает отравить его; но смерть Британика лишает Нерона любимой женщины: в отчаянии от смерти своего возлюбленного она находит себе убежище в храме Весты, что, согласно римской религии и законам, обрекает ее на целомудрие и безбрачие.

¹²⁵ «Береника» («Berenice», 1670) – трагедия, посвященная истории несчастной любви римского императора Тита и иудейской царевны Береники, которым законы Рима помешали соединить свои судьбы, так что влюбленные были вынуждены расстаться навсегда.

¹²⁶ «Митридат» («Mithridate», 1673) – краткое содержание этой пьесы таково: прославленный полководец, понтийский царь Митридат, давний враг римлян, потерпев от них поражение, возвращается домой к страстно любимой им невесте, гречанке Мониме, сердце которой втайне принадлежит младшему сыну Митридата, добродетельному Кифаресу, отвечающему ей взаимностью, но при этом всецело преданному своему царственному отцу. Тем временем слухи о гибели Митридата заставили его старшего сына, коварного Фарнака, давно поддерживающего связи с врагами отца – римлянами и тоже влюбленного в Мониму, открыто объявить о своих притязаниях на власть и на отцовскую невесту; появившийся Митридат узнает об измене Фарнака и берет его под стражу, однако его подозрения простираются и на Кифареса; расставив ловушку Мониме, он выманивает у нее признание в любви к последнему и готов обречь счастливого соперника на гибель; получив сообщение, что Фарнак поднял бунт среди царских воинов и вместе с римлянами идет на штурм царского дворца, Митридат перед лицом неминуемой гибели, решив покончить с собой, посылает перед этим приказ Мониме принять яд, ибо он не желает, чтобы она досталась кому-либо, кроме него; Монима, считая, что ее любимый Кифарес погиб, и вина во всем себя, готова подчиниться своей участи, как вдруг прибегает посланец царя и отменяет страшный приказ: поразивший себя мечом, истекающий кровью царь успевает накануне смерти узнать, что неожиданно появившийся перед дворцом Кифарес обратил в бегство врага, придя отцу на помощь, как и подобает сыну; Митридат раскаивается в своей жестокости и благословляет Мониму на брак с Кифаресом.

¹²⁷ «Ифигения» («Iphigenie», 1674) – стихотворная пьеса Ж.Расина, очень близкая к своему основному источнику – трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». Однако французский драматург ввел в свою трагедию образ Эрифилы, ревнивой и мстительной пленницы Ахилла, влюбленной в него и ненавидящей его невесту Ифигению, несмотря на дружбу, которую та к ней питает. По ходу пьесы, обуреваемая страстью, она выдает план бегства Ифигении, обрекая ее на верную смерть; однако затем выясняется, что безродная Эрифилы в действительности дочь спартанской царицы Елены Прекрасной, когда-то похищенная Тесеем, и ее также зовут Ифигенией, и это ее, а не дочь Агамемнона, боги требовали принести в жертву; перед лицом неминуемой гибели, не дав прикоснуться к себе жрецу, Эрифилы – Ифигения закалывает себя ножом.

¹²⁸ «Федра» («Phedre», 1667) – источниками этой трагедии Ж.Расина стали пьесы «Ипполит» Еврипида и «Федра» Сенеки. Федра, супруга царя Афин Тесея, мучимая страстью к своему пасынку Ипполиту, получает ложное известие о смерти мужа и открывает Ипполиту свои чувства; отвергнутая им, царица узнает о внезапном возвращении Тесея и, в страхе и отчаянии,

после чего сюжеты показались ему настолько исчерпанными, что он двенадцать лет бездействовал, перед тем как сочинить «Эсфирь»,¹²⁹ и четырнадцать лет – перед тем как сочинить «Аталию»!¹³⁰

Исследователи считают, что именно по религиозным мотивам великий поэт прервал свое творчество, но я говорю, я заявляю, я утверждаю, что подлинной причиной случившегося с ним явился здесь захват сюжетов, учиненный его предшественниками...

И у меня есть тем больше оснований заявить, дорогой мой Петрус, что в течение тех трех лет, когда я искал сюжеты для драмы или трагедии, дела обстояли точно так же, как с сюжетами для эпической поэмы. В мою тетрадь я вписал заглавия более полусотни драм и трагедий, но по истечении трех лет, убедившись в невозможности найти нетронутый сюжет и не желая опускаться до уровня плагиатора или копииста, я разорвал последний лист второй моей тетради и отказался от мысли стать великим человеком в качестве сочинителя трагедии или драмы, как отказался от мысли стать великим человеком в качестве эпического поэта.

Мне скажут, остается еще комедия, эта неисчерпаемая копь, где бесконечной рудной жилой служат пороки и чудачества людей, а также заблуждения и испорченность общества; но, когда я вознамерился от трагедии и драмы перейти к комедии, мне стало ясно, что, поскольку я не видел в Бистоне или Саутуэлле других людей, кроме отца и самого себя, нашего родственника и великого Александра Попа, поскольку я не имел случая наблюдать ни пороки, ни чудачества людей, я не мог бичевать их, пусть даже смеясь; так же как, не зная иного общества, кроме обитателей нашей деревушки, я не мог живописать по-настоящему заблуждения и испорченность большого человеческого общества, ибо Бистон предлагал мне лишь его миниатюрную копию.

соглашается последовать совету своей кормилицы и наперсницы Эноны: не дожидаясь разоблачения, обвинить Ипполита в покушении на честь царицы; услышав от Эноны о предполагаемом преступлении сына, Тесей изгоняет его и призывает на его голову гнев Посейдона (попытка Ипполита оправдаться не имеет успеха, так как в своем благородстве, щадя чувства отца, он не хочет открыть позорную для Федры правду); Федра, боясь за жизнь Ипполита, почти что готова во всем признаться, но узнает, что у нее есть соперница: Ипполит любит царевну Арикию. В новом приступе горя она обрушивает свой гнев на кормилицу; терзаемый сомнениями в своей правоте Тесей слышит от приближенных, что Энона покончила с собой, бросившись в воду, а Федра находится на грани смерти; он готов взять назад свое проклятие и хочет увидеть сына, но уже поздно: наставник Ипполита приносит весть о его гибели; скорбящий Тесей сообщает появившейся Федре о случившемся, говоря, что он не хочет больше знать, кто из них прав, а кто виноват; но царица прерывает его: она уже приняла яд и в последние минуты жизни хочет снять бремя с души, обелив невинного Ипполита; рассказав всю правду, Федра умирает.

¹²⁹ «Эсфирь» («Esthen», 1689) – трагедия на сюжет ветхозаветной книги Есфири: жестокий фаворит персидского царя Артаксеркса, Аман, жаждет истребить всех евреев, живущих во владениях его государя; основная причина этой вражды – ненависть к одному из них, Мордухаю, не пожелавшему склонить колени перед всесильным временщиком и тем уязвившим его гордость; недавно ставшая царицей юная Эсфирь (скрывающая, что она еврейка и племянница Мордухая), рискуя жизнью, вступает в борьбу за влияние на царя: в присутствии Амана она рассказывает Артаксерксу правду о своем происхождении, защищает свой народ, славит бога Израиля и обличает кровожадного фаворита; в итоге Эсфирь одерживает победу: Амана казнят, приказ об истреблении евреев отменен, Мордухай приближен к трону.

¹³⁰ «Аталиия» («Гофолия»; «Athalie», 1691) – последняя трагедия Ж.Расина, написанная, как и «Эсфирь», на библейский сюжет (Паралипоменон, 22–23): нечестивая царица Гофолия после смерти своего сына, царя Охозии, перебившая всех его детей, своих внуков, царствует в Иудее, насаждая там культ языческого бога Ваала; ей и ее сообщнику, вероотступнику Матфану, жрецу Ваала, противостоит лишь горстка приверженцев истинного бога – во главе с первосвященником Иодаем, женой на царевне Иосавеф, падчерице Гофолии; мучимая вешими снами, в которых она видит отрока в белой одежде, вонзающего ей в грудь кинжал, Гофолия идет в Иерусалимский храм; Иодай преграждает ей путь в святилище, грозя Божьим проклятием, и тут царица замечает мальчика, как две капли воды похожего на приснившегося ей отрока; в волнении она расспрашивает о нем, но узнает лишь, что это подкидыш, воспитанный в семье Иодая; страхи и подозрения царицы, разжигаемые коварным Матфаном, растут, и она решается, наконец, на штурм храма, дабы уничтожить гнездо мятежников, захватить храмовые сокровища и, главное, потенциально опасного для ее власти ребенка; Иодай, узнав, что царица с армией наемников идет на храм, организует изнутри его защиту силами священства и левитов и открывает своим сторонникам великую тайну: маленький подкидыш – это их законный царь Иоас, младший внук Гофолии, спасенный своей теткой Иосавеф во время избияния царского дома; помазав мальчика на царство, Иодай расставляет Гофолии ловушку: он обещает отдать ей все, что она требует, при условии, что царица войдет в храм с небольшой свитой, оставив наемников за его воротами; пришедшая Гофолия узнает всю правду и приказывает свите убить Иоаса, но его окружают вооруженные левиты; одновременно становится известно о бегстве наемников и переходе большинства народа на сторону законного царя; Гофолия осуждена на смерть, она признает победу еврейского бога, но предрекает, что рано или поздно в Иоасе проснется ее кровь и он отринет своего бога.

Как Вы сами видите, дорогой мой Петрус, от комедии я отказался по причинам не менее существенным, чем те, которые вынудили меня отказаться ранее от эпической поэмы, трагедии и драмы.

Впрочем, на протяжении этого третьего года, двадцать первого года моей жизни, последовали друг за другом два события, которые, пронзив мое сердце страданиями подлинными, и к тому же моими собственными, и заставив пролить все мои слезы, на какое-то время воспрепятствовали занимать себя страданиями чужими и вымышленными.

Сначала умерла моя мать, а через месяц умер и отец.

Смерть матери причинила мне огромную боль; смерть отца не только стала для меня огромным горем, но и одновременно принесла мне крайние затруднения.

Как это понять? Вот это-то я и объясню Вам в следующем моем письме, дорогой мой Петрус, а данное послание, по-моему, вышло за пределы обычного письма.

Но мне понадобилось не менее десяти – двенадцати листов, которые оно занимает, для того чтобы объяснить, каким образом получилось, что я не стал великим эпическим поэтом наподобие Гомера, Вергилия, Данте, Петрарки и Тассо, или великим драматургом или комедиографом наподобие Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Плавта, Шекспира, Корнеля, Мольера или Расина, а стал и поныне являюсь простым сельским пастором, таким, как Свифт,¹³¹ если не считать тысячи фунтов стерлингов дохода, недостижимой для меня, и его «Путешествий Гулливера»,¹³² «Сказки бочки»,¹³³ «Предсказания Бикерстафа»¹³⁴ и «Битвы книг»¹³⁵ – их я, конечно же, не написал, но, тем не менее, надеюсь написать когда-нибудь нечто равнозначное им.

Ведь хотя и отмечая сегодня свой день рождения – день, когда мне исполнилось двадцать шесть, – хотя и не решившись написать даже первой строчки книги, способной прославить меня, я все еще лелею надежду, что с Божьей помощью смогу оставить потомству прославленное имя, если не благодаря поэзии, от которой я почти отказался, так, по крайней мере, благодаря прекрасной книге прозы, как это удалось Рабле,¹³⁶ Монтеню.¹³⁷ и Даниелю Дефо¹³⁸

¹³¹ Свифт, Джонатан (1667–1745) – английский писатель-сатирик и общественный деятель; до 1713 г. числился приходским священником в селении Ларакор в Ирландии, хотя жил преимущественно в Англии; в 1714 г. благодаря своим политическим связям получил крупный церковный пост – стал настоятелем собора святого Патрика в Дублине и одним из руководителей дублинской епархии.

¹³² «Путешествия Гулливера» (1726) – знаменитый сатирический роман Свифта; его полное название: «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» («Travels into several remote nations of the world in four parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon, and then a captain of several ships»).

¹³³ «Сказка о бочке» («A tale of a tub») – сатирический памфлет Свифта (написан в 1697 г., издан в 1704 г.), в котором автор высмеял борьбу за власть и богатство, лживость и распутство трех основных для Англии того времени ветвей христианства – католицизма, государственной англиканской епископальной церкви и пуританства, приверженцами которого в основном были лицемерные английские буржуа; памфлет предупреждает об опасности религиозного фанатизма и о воцарившейся в стране продажности.

¹³⁴ «Предсказания Бикерстафа» (1709) – серия памфлетов Свифта, которые были написаны под псевдонимом Исаака Бикерстафа («Предсказания на 1708 год», «Исполнение первого предсказания Бикерстафа», «Оправдание Исаака Бикерстафа» и «Предсказание Мерлина»); они были направлены против распространенных тогда альманахов с предсказаниями, против невежества и суеверий.

¹³⁵ «Битва книг» («The Battle of the books», 1697) – одно из первых зрелых произведений Свифта, в котором он выступает против канонизации классического литературного наследия и за творческое его использование.

¹³⁶ Рабле, Франсуа (ок. 1494–1553) – французский писатель-сатирик, остроумно обличавший устои и нравы своего времени; автор знаменитого романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

¹³⁷ Монтень, Мишель (1533–1592) – выдающийся французский мыслитель, философ и моралист, автор всемирно известных «Опытов», в которых он глубоко раскрыл природу человека и внутренние мотивы его поведения и деятельности.

¹³⁸ Дефо, Даниель (ок. 1660–1731) – английский публицист и писатель, основоположник европейского романа нового времени; параллельно с литературным творчеством занимался коммерцией, был секретным агентом английского правительства; начинал как памфлетист, затем перешел к авантурным и сатирическим романам; его лучший роман «Жизнь и странные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» (1719), явился своеобразной энциклопедией идей буржуазного Просвещения и проникнут пафосом труда и оптимизма.

III. Первый совет моего хозяина-медника

В последнем моем письме, дорогой мой Петрус, я сказал Вам, что если смерть матери причинила мне огромную боль, то смерть отца не только стала для меня огромным горем, но и одновременно принесла мне крайние затруднения.

Я говорил Вам также, что отец мой не был богат; после его смерти я увидел, что он не только не был богат, но был просто беден; нет, не только беден, а хуже того – он был просто нищим!

Вопреки своей холодной и суровой внешности, отец обладал сердцем снисходительным и добрым.

Бедняки, с которыми сталкивала отца его пасторская служба, отлично знали это и любили его не без оснований.

Дело в том, что, когда с высоты своей пасторской кафедры отец изобличал сердца эгоистические, скупые, немилосердные, кошелек его был пуст; дело в том, что, видя вокруг себя несчастных, которых он не мог утешить, отец безмерно возмущался теми, кому Господь даровал богатство для того, чтобы они стали вторым Провидением бедных, и кто, затворив свои души для жалоб несчастных, недостойно пренебрегают миссией, ниспосланной им Небом.

Отец мой действительно не мог видеть сложенных в мольбе ладоней без того, чтобы не подать просящему милостыню, забывая, что сам он первый бедняк в своем приходе.

Его отзывчивость была столь широко известна, что один ткач из нашей деревни, купивший на шестьдесят фунтов стерлингов пеньки, льна и ниток у купца из Ноттингема и попавший в беду (дом его сгорел, он все потерял и не имел чем заплатить своему поставщику, который стал преследовать беднягу по суду и подверг аресту за этот долг; это было за полтора года до смерти отца), попросил отвести его в сопровождении судебных чиновников к бистонскому пастору, хотя он прекрасно знал, что отец не располагал необходимой суммой; но ткач рассчитывал на то, что и произошло: отец, проникнувшись жалостью к бедняге, отправился вместе с ним в город и там попытался смягчить сердце купца, но, видя, что это не удастся и несчастного ткача вновь отведут в тюрьму, взял на себя обязательство вместо ответчика выплачивать в год по четыре фунта стерлингов, и обязательство это он пунктуально выполнял до самой смерти – таким образом, он уже успел уплатить шесть фунтов стерлингов из шестидесяти.

Разобравшись в положении и принимая во внимание мою бедность, деловой человек, к которому я обратился, дал мне совет принять отцовское наследство только в соответствии с законным правом наследника отвечать лишь за те долги, что не превышают стоимости наследства; от подобного совета я решительно отказался, поскольку мне представлялось, что, действуя таким образом, я нанесу оскорбление памяти отца.

Так что я призвал всех кредиторов, каких мой отец мог иметь в деревне, предъявить нужные документы и, поскольку, после того как похороны прошли и достойному человеку были отданы последние почести, в пасторском доме осталось только одиннадцать шиллингов, распорядился продать все наше убогое имущество, за исключением подозрительной трубы моего деда-боцмана, так как матушка, видя в ней не только семейную реликвию, но и талисман, приносящий счастье, взяла с меня клятву никогда с ней не расставаться, в какое бы бедственное положение я ни попал.

Когда имущество было распродано, я оказался обладателем шести фунтов стерлингов, но оставался еще должен ноттингемскому купцу пятьдесят четыре фунта стерлингов.

Вероятно, я мог бы опротестовать этот долг, поскольку он не являлся личным долгом моего отца; но, повторяю, мне не хотелось бросать тень на его память.

Я решил выплатить отцовский долг на тех же условиях и как бы заступил на место отца, хотя с моей стороны, со стороны человека, не имевшего равным счетом ничего, было неосмот-

рительно взять на себя уплату четырех фунтов стерлингов в год, особенно принимая во внимание то, что из документа, удостоверяющего этот долг, следовало: если два года подряд по нему не будут производиться платежи, то по истечении недели после неуплаты за этот второй год общая сумма долга могла быть изъята по простому решению суда.

Но, несмотря на мое разочарование в эпической поэзии и драматургии, я все еще надеялся добиться известности и благосостояния, взявшись за сочинительство в одном из множества литературных жанров, в каких я пока не пробовал силы, но мог испытать себя в любой час, как только мой гений изволит снизойти до одного из них.

Таким образом, я полагал возможным взять на себя это обязательство и бесстрашно это сделал; к тому же в ожидании часа, когда я сотворю великое произведение, которое прославит мое имя и укрепит мое благосостояние, мне следовало заняться каким-то делом, и я избрал дело моего отца, выполнявшееся им столь достойно; я принял сан, что стало для меня лишь простой формальностью, так как мое классическое и теологическое образование проходило под руководством добродетельного человека, которого я оплакивал и который, всю свою жизнь заботясь о моих нуждах, и после своей смерти обеспечил мое будущее.

Но посвящение в сан – это далеко не все: для того чтобы оно принесло какую-то пользу, мне надо было еще получить назначение в какой-нибудь приход, сколь бы небольшим и мало-доходным он ни был.

Я настолько привык жить в бедности, что доходов с любого прихода – я в этом не сомневался – было бы достаточно не только для удовлетворения моих жизненных потребностей, но и для выплаты долга ноттингемскому купцу, долга, который обязался выплачивать мой отец с тем, чтобы выручить бедного бистонского ткача, на помощь которого, впрочем, мне не приходилось рассчитывать, поскольку сей почтенный человек умер ровно через месяц после отца!

Короче, у меня не было никаких сомнений, что человеку, подающему такие надежды, как я, и согласному стать деревенским пастором, ректор¹³⁹ Ноттингема, от которого зависели все окрестные приходы, поспешит предоставить мне на выбор одно из вакантных мест.

Следует признать, что претензии мои вовсе не представлялись мне завышенными: я был взращен на чтении греческих и латинских авторов времен Перикла¹⁴⁰ и Августа¹⁴¹ и читал я их с большей легкостью, чем английских авторов тринадцатого и четырнадцатого веков; по-французски и по-немецки я говорил так же свободно, как на родном языке; я обладал некоторым природным умом, к которому примешивалась горделивая наивность, заставлявшая меня излагать мои надежды высокопарно, сколь бы смехотворны они ни были; наконец, при всей нехватке практических уроков я столько прочел, столько запомнил, столько столетий сопоставил со столетиями, а людей – с людьми, что вообразил себя глубоким знатоком человечества, которому эти знания позволяют видеть в глубине людских сердец реальные и подлинные побудительные мотивы всех поступков в этом мире, пусть даже они сокрыты под самыми толстыми покровами себялюбия или в самых темных тайниках лицемерия.

По правде говоря, дорогой мой Петрус, отвлеченно и теоретически мои рассуждения были безукоризненно правильны, но, как только мне предстояло перейти от теории к практике, уже один вид тех людей, с кем я имел дело, вводил меня в полное замешательство.

Одиночество моих юных лет, откуда я черпал все великие идеи, при помощи которых неустанным сосредоточенным трудом я рассчитывал прославить свое имя и составить состоя-

¹³⁹ Ректор – в англиканской церкви окружной церковный чиновник, назначающий приходских священников.

¹⁴⁰ Перикл (ок. 495–429 до н. э.) – крупнейший из афинских государственных деятелей, вождь рабовладельческой демократии, стремившийся к установлению военной и политической гегемонии Афин в греческом мире; в период его правления Афины превратились в культурный центр Греции.

¹⁴¹ Август (63 до н. э.-14 н. э.) – древнеримский государственный деятель и полководец; до 27 г. до н. э. носил имя Гай Юлий Цезарь Октавиан; с 27 г. до н. э. первый римский император (под именем Цезарь Август); присвоенное ему сенатом имя-титул Август произведено от лат. *augere* – «увеличивать».

ние, не смогло подготовить меня к общению с людьми; мои решения, принятые в результате спокойных раздумий, развеивались в прах, логика моих рассуждений терялась в дрожи моих губ и заикании, а перед лицом опасности, которую мысленно я бесстрашно атаковал и сражал моей диалектикой, мог произнести только вялые фразы и бесцветные слова, будучи совершенно бессилем не то что атаковать, а хотя бы защитить себя.

И если, дорогой мой Петрус, что-то и было воистину роковым для меня в таких досадных свойствах моего характера, так это следующая моя особенность: чувствуя свою собственную значительность и, следовательно, сознавая свое интеллектуальное превосходство перед теми, кто брал надо мной верх, я не мог, а скорее не хотел приписать мое поражение его подлинной причине, то есть неодолимой робости; нет, напротив, я искал причину внешнюю, лестную для моего самолюбия, причину, которая не позволяла бы мне видеть себя смешным и шадила бы моё чувство собственного достоинства, а им я дорожил тем больше, что, на мой взгляд, другие его ценили настолько же мало, насколько я сам придавал ему его подлинную цену – ту, которая однажды будет блистательно и неоспоримо удостоверена великим творением, что явится восхищенным взорам моих сограждан, подобно тому как величественное пылающее солнце восходит над утренними туманами или грозowymi облаками.

Но, чтобы приступить к созданию такого великого произведения, я нуждался в том спокойствии ума, которое мог мне дать только твердый и обеспеченный доход, пусть даже самый скромный, поскольку он избавил бы душу от беспрестанной заботы о телесных потребностях.

В ожидании прихода, который несомненно передадут мне не сегодня, так завтра, я покинул Бистон, где у меня не оставалось никаких средств для существования, и, увозя с собой вместо мебели подозрную трубу моего деда-боцмана, отправился в Ноттингем, где славный медник из Девоншира,¹⁴² не получивший никакого воспитания, зато не лишенный природного ума, за пять шиллингов в месяц сдал мне комнату на четвертом этаже своего дома, расположенного неподалеку от церкви Сент-Мэри.¹⁴³

Обосновавшись в Ноттингеме, я вознамерился вступить в местное общество и, неизбежно впечатляя всех и всюду своим интеллектуальным превосходством, воспользоваться общим восхищением от моего ума, чтобы внушить ректору желание дать мне приход, на который я рассчитывал.

К сожалению, я не мог войти в это общество, поскольку совершенно ни с кем не был знаком в Ноттингеме, кроме купца, которому я оставался должен пятьдесят четыре фунта стерлингов с выплатой по четыре фунта в год.

Логика подсказывала мне, что человек этот весьма заинтересован в моем успехе, поскольку, продвигая меня по пути к богатству, он не только обеспечивал возврат долга, но и ускорял его выплату, потому что, как легко понять, в день, когда я разбогатею, я сразу же избавлюсь от столь ничтожного долга.

И хотя я должен был отдать ему четыре фунта стерлингов лишь к концу года, я решил, поскольку первый квартал уже истек, отнести купцу один фунт, изъяв его из трех-четырех оставшихся у меня гиней.¹⁴⁴

С моей стороны это была жертва, но, вне всякого сомнения, досрочная уплата могла расположить ко мне моего кредитора и принести мне, благодаря умелому расчету, нечто гораздо большее, чем гиней, даже если отдать ее займы на год под законный или ростовщический процент, как обычно это делается.

¹⁴² Девоншир – графство на юго-западе Англии; административный центр – Эксетер, порт в устье реки Экс.

¹⁴³ Это одна из интереснейших церквей в Ноттингеме, построена в XV в.; принадлежит местной протестантской общине.

¹⁴⁴ Гиней – английская золотая монета (равна 21 шиллингу), находившаяся в обращении до 1817 г.; впервые ее начали чеканить в 1663 г. из золота, привезенного из Гвинеи, отсюда и название; в качестве ценовой единицы употреблялась до второй пол. XX в.

Согласитесь со мною, дорогой мой Петрус, что, соблюдая правила самой строгой порядочности или, скорее, возвышаясь до самой благородной деликатности, поскольку я действительно платил на девять месяцев раньше срока, – согласитесь, что я нашел комбинацию, представляющую собой шедевр логики и расчета.

Поэтому я и теперь не сомневаюсь, что эта комбинация имела бы самый полный успех, если бы не моя несчастная робость, провалившая всю затею не то что на стадии цветения или плодоношения, а на самом корню.

И действительно, как только я пришел в дом купца, как только оказался в его присутствии и в присутствии его супруги, худой, сухощавой и сварливой женщины, как только, наконец, извлек гинею из своего кармана и передал ее в карман моего кредитора, который, надо отдать ему справедливость, тут же выдал мне расписку, – я не смог найти ни одного слова, чтобы приступить к главному вопросу, то есть к вопросу о представлении моей особы местному обществу, и, взглянув в огромное зеркало, напротив которого я по несчастливой случайности расположился, увидел в нем человека неуклюжего и провинциального.

Купец поднялся, чтобы за своим бюро написать мне расписку, и, когда он протянул ее мне, злосчастной судьбе было угодно, чтобы я тоже поднялся и оказался стоящим посреди комнаты со шляпой в руке, как человек, готовый раскланяться.

А ведь просьба, с которой я намеревался обратиться к купцу, требовала определенной обстоятельности: мне надо было не только попросить представить меня в обществе, но и объяснить, зачем я обращаюсь с такой просьбой; сесть снова, когда я только что встал, показалось мне неловким; долго излагать мою просьбу стоя представлялось просто невозможным.

К тому же было очевидно, что купец считал наш разговор исчерпанным; я наклонился, чтобы взять у него расписку, а он, думая, что я отдаю ему прощальный поклон, поклонился сам; видя, что я не выпрямляюсь, он тоже замер в поклоне, и, поскольку мы оба не двигались и не говорили, выглядели мы, как две скобки, ожидающие, когда же их соединит фраза; молчание затягивалось, ситуация становилась настолько забавной, что жена купца, в моих глазах такая худая, сухощавая и сварливая, отвернулась, давась от смеха; заметив это, я смутился; мое смущение развеселило ее еще больше, и от этого смеха, заразившего уже и купца, я совсем потерял голову.

Я уже не думал ни о чем другом, кроме фразы, которая позволила бы мне благопристойно удалиться; наконец, как мне показалось, я ее нашел и, выпрямившись, промолвил:

– Сударь, через три месяца я принесу вам вторую гинею.

Безусловно, это обещание делало меня уже не столь смешным в глазах купца, так как, переходя от смеха к улыбке, он ответил:

– Приносите, сударь, будем вам рады.

Тут он вежливо протянул мне руку, которую я неловко пожал своей – холодной, влажной и дрожащей. Дело в том, что я прекрасно сознавал: произнеся последние слова, я допустил глупость, ибо принял по отношению к этому человеку бесполезное обязательство, хотя никто не заставлял меня это делать.

Более того, это обязательство было не только бесполезным, но и опасным; если бы, выполняя его, я через три месяца принес купцу его гинею, она его не обрадовала бы, поскольку он знал об этом заранее; если бы, напротив, я не пришел, будучи обязан принести гинею только еще через полгода, то тем самым нарушил бы свое слово и настроил бы купца против себя.

Промах был столь велик, что я, по своему обыкновению, стал искать причину этой неудачи в ком-нибудь, кроме себя самого; наконец, я нашел причину: если бы в комнате не присутствовала супруга купца, я прекрасно бы объяснился с ним как мужчина с женщиной; следовательно, в том, что сейчас со мной произошло, виновна эта женщина, и я вышел, проклиная ее, в то время как на самом деле мне следовало проклинать только себя самого.

Вернувшись к меднику, я рассказал ему о моей неудаче, изложив историю самым благоприятным для моего самолюбия образом, и, поскольку перед этим человеком я держался вовсе не робко, он мне заявил:

– Ей-Богу, господин Бемрод, на вашем месте я не стал бы делать ни того ни другого: я пошел бы прямо к ректору. Вы так достойно выглядите и так красноречиво говорите, что безусловно уже через минуту получите от него все, что попросите.

Эта мысль поразила меня словно молния, и я удивился, как это она не пришла мне в голову.

Ректор не был женат; следовательно, по всей вероятности, я не увижу у него в доме женщины, внушающей мне робость.

Я пожал руку медника куда более искренне, чем до этого пожимал руку купца.

– Вы правы, – воскликнул я, – пойду к ректору, ведь это он назначает соискателей, и представлюсь ему с той благородной уверенностью, что настраивает в пользу того, кто обращается с ходатайством; и не позволяет отклонить его просьбу. Я знаю людей, дорогой мой хозяин, и по первым же его словам, обращенным ко мне, смогу судить о его характере, а поскольку, в конечном счете, надо немного помочь самому себе, если хочешь добиться успеха, воспользуюсь своим глубоким пониманием человеческой души, которое мне дала природа и усовершенствовало воспитание.

Если ректор человек гордый – я осторожно польщу ему в той мере, какая дозволена христианину; если он человек чувствительный – я трону его сердце; если он человек ученый – я побеседую с ним о науке и покажу ему, что она мне отнюдь не чужда; наконец, если он невежда – я изумлю его обширностью моих познаний; но, так или иначе, вы сами это увидите, дорогой мой хозяин, ему придется предоставить мне то, что я прошу.

Хозяин выслушал меня внимательно, однако я видел, что он не разделяет моей горячей уверенности.

С минуту помолчав, он произнес:

– Да, господин Бемрод, то, что вы сказали, сказано отлично...

– Не правда ли? – подхватил я, весьма довольный его одобрением.

– Да... только я сам не стал бы действовать таким образом.

– Потому что вы, дорогой мой хозяин, не знаете людей.

– Быть может; у меня есть только инстинкт, возможно животный инстинкт, но этот инстинкт никогда меня не подводил.

Я улыбнулся и из любопытства спросил в покровительственном тоне:

– И что же вы бы сделали на моем месте, мой дорогой друг? Итак, слушаю вас.

И, чтобы слушать было удобнее, я важно уселся в его большом кресле резного дерева.

– Так вот, – начал мой хозяин, – я бы сказал ему без обиняков: «Господин ректор, вы, быть может, слышали о достойном человеке, который тридцать лет был пастором в бистонском приходе; за эти три десятка лет он сумел, что совсем не просто, завоевать и сохранить уважение богатых и любовь бедных. Я его сын, господин ректор, а значит, сам по себе равным счетом ничего собой не представляю и пришел просить вас во имя моего покойного отца предоставить мне небольшой деревенский приход, где я мог бы применить на деле те добродетели, пример которых со дня моего рождения до дня своей смерти давал мне отец». Вот что я сказал бы ректору, господин Бемрод, я, не знающий людей, и, уверен, эти несколько простых и бесхитростных слов тронули бы ректора больше, чем все ваши пространные заранее приготовленные речи.

Из жалости к собеседнику я улыбнулся.

– Друг мой, – сказал я ему, – ваша речь, а ведь это речь, хотя в ней, если следовать предписаниям Цицерона,¹⁴⁵ в его книге «Ораторы»¹⁴⁶ легко увидеть погрешности в форме, – ваша речь, друг мой, слишком проста, ей недостает того высокого искусства, что мы именуем красноречием.

Ведь красноречие – это единственное, что трогает, волнует, увлекает. Плиний¹⁴⁷ говорит, что древние изображали красноречие в виде золотых цепей, свисающих с уст, тем самым указывая, что оно суверенный властитель в этом мире и что все люди его рабы.

Так что я буду красноречив и, поскольку красноречие мое я пушу в ход соответственно складу ума, характеру и темпераменту ректора, добьюсь успеха...

У меня ведь тоже, – воскликнул я в порыве восторга, – у меня ведь тоже есть золотые цепи, свисающие с моих уст, и этими цепями я пленю мир!

– Да будет так! – прошептал мой хозяин с видом, говорившим нечто иное: «Желаю вам успеха, мой добрый друг, но сам в него не верю...»

¹⁴⁵ Марк Туллий Цицерон (102–43 до н. э.) – римский политический деятель, знаменитый оратор, писатель и философ (язык Цицерона на протяжении веков считался нормативным образцом латинской прозы).

¹⁴⁶ По-видимому, под названием «Ораторы» здесь подразумеваются три трактата Цицерона: «Об ораторе» («De oratore», 55 г. до н. э.), где в форме беседы между несколькими видными ораторами выражены взгляды Цицерона на искусство красноречия; изложение истории красноречия в Риме, носящее название «Брут, или о славных ораторах» («Brutus sive De Claris oratoribus», 46 г. до н. э.); посвященное Бруту теоретическое сочинение «Оратор» («Orator ad M. Brutus»).

¹⁴⁷ Плиний Старший (23–79) – римский натуралист, автор «Естественной истории» в 37 книгах, содержащих свод знаний того времени о природе; погиб при извержении Везувия.

IV. Второй совет моего хозяина-медника

Будучи по случаю визита к купцу одет как можно более достойно, я решил не откладывать на следующий день визит к ректору и воспользоваться моим нарядом, чтобы, как говорят во Франции, нанести одним камнем два удара.

Впрочем, мне казалось, что, потерпев такое основательное поражение в одном месте, я не мог в тот же день потерпеть поражение в другом.

Я слишком хорошо знал свое право не быть знакомым с максимой «non bis in idem¹⁴⁸»; наконец, как это свойственно по-настоящему мужественным сердцам, я черпал новые силы в самом моем поражении и, чтобы забыть о нем, спешил взять реванш.

Итак, с гордо поднятой головой, полный надежд, я отправился в путь. К несчастью, ректор обитал на окраине города!

Если бы он жил в десяти, двадцати, пусть даже пятидесяти шагах от дома моего хозяина-медника, то – у меня нет в этом сомнений еще и сегодня – я атаковал бы его с тем невозмутимым сознанием собственного превосходства, какое мне давало мое глубокое знание людей; но, как уже было сказано, ректор жил на другом конце города!

Пока я шел, найденные мною доводы начали представляться мне все менее убедительными и мне невольно вспоминалась столь простая речь моего хозяина-медника; сначала я отвергал ее высокомерно, поскольку эта речь, как я уже говорил ее автору, страдала прискорбным несовершенством формы; но, что столь же бесспорно, в ней было соблюдено одно из условий красноречия, правда условие второстепенное, *submissa oratio*,¹⁴⁹ по выражению Цицерона, но, однако, обладающее своим достоинством – простотой.

Такое сопоставление моей речи и речи моего хозяина-медника заронило в моем уме первое сомнение.

Как лучше говорить с ректором – в стиле возвышенном или же простым? Следует казаться величественным или же естественным?

В тех обстоятельствах, от каких зависело мое будущее, вопрос этот заслуживал серьезного обдумывания.

На минуту я остановился, чтобы поразмышлять, не замечая удивления, выказываемого прохожими при виде человека, посреди улицы жестикулирующего и разговаривающего с самим собой.

Это обсуждение, на котором сам я выступил адвокатом стиля простого, причем выступил с беспристрастностью, способной сделать честь самым выдающимся юристам Великобритании, кончилось тем, что адвокат превратился в судью, вынесшего решение, достойное царя Соломона.¹⁵⁰

Согласно этому решению, в речи, с которой мне предстояло обратиться к ректору, следовало счастливо слить воедино стиль благородный и патетический со стилем простым и убедительным и таким образом со свойственным мне умением сблизить две противоположности красноречия для того, чтобы я мог повелевать своим словом, то давая ему волю, то обуздывая

¹⁴⁸ Это высказывание (лат. «Не дважды за то же») связано с нормой римского права: «Никто не должен дважды нести наказание за одно преступление» («Nemo debet bis puniri pro uno delicto»).

¹⁴⁹ Сдержанная речь (лат.)

¹⁵⁰ Соломон – царь Израильско-Иудейского царства с 965 до 928 г. до н. э., в период его наивысшего расцвета; согласно библейской легенде, славился мудростью, любвеобильностью и справедливостью и был автором нескольких книг Библии. Здесь речь явно идет о библейской легенде, получившей название Суда Соломона. К царю обратились две женщины-блудницы, родившие в одно и то же время и в одном и том же доме по ребенку, один из которых вскоре умер; каждая из них утверждала, что в живых остался ее ребенок. И тогда Соломон сказал: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой» (3 Царств, 3: 25). Истинная мать из-за жалости к сыну тотчас отказалась от такого решения, а равнодушная обманщица согласилась с ним. Так царь узнал, какая из двух женщин – мать этого ребенка, и отдал его ей.

так, как ловкий возничий на колеснице правит двумя лошадьми разной породы: одной – горячей и порывистой, другой – покладистой и послушной, заставляя их идти одинаковым шагом и влечь колесницу к заветной цели с одинаковой силой и одинаковой скоростью!

Теперь речь шла только о том, чтобы слить обе речи в одну и, сочетав стиль возвышенный со стилем простым, создать стиль умеренный.

Я сразу же взялся за это.

Но тут возникла трудность – трудность, о которой я не подумал, но которая, ввиду нехватки времени для ее преодоления, встала передо мной неодолимой преградой.

Тщетно вспоминал я все предписания древних и современных авторов насчет сочетания простого и возвышенного: положение представлялось мне непохожим ни на какое-нибудь другое, а две речи – единственными, не поддающимися этому счастливому слиянию.

Хуже того, неведомо почему, мне казалось, что они испытывают взаимную антипатию, как это бывает между некоторыми людьми и между некоторыми расами, и я вспомнил в связи с этим ирландскую поговорку, которая с большей правдивостью, чем поэтичностью, живописует антипатию, разделяющую Ирландию¹⁵¹ и Англию:

«Три дня вари в одном котле ирландца и англичанина и через три дня увидишь там два отдельных бульона».

Так вот, дорогой мой Петрус, мне казалось, что между моей речью и речью моего хозяина-медника существует такая несовместимость, что, вари их три дня, а то и неделю в одном горшке, никогда не удастся превратить их в единый бульон.

Я еще предавался моему умственному труду и философским размышлениям, когда внезапно с ужасом заметил, что стою перед дверью ректора.

Расстояние, отделяющее его дом от дома моего хозяина, оказалось одновременно и слишком коротким и слишком длинным!

Согласитесь, дорогой мой Петрус, что подобного рода неприятности независимо от всех человеческих расчетов направлены исключительно против меня...

Это неблагоприятное для меня обстоятельство привело к тому, что мою речь, которая мне и сегодня представляется неизмеримо выше речи медника, я мог бы произнести не прерываясь и, следовательно, вызвал бы громоподобный эффект, если бы дом ректора, как я уже говорил, отделяли от дома моего хозяина только десять, двадцать, пусть пятьдесят шагов; если бы дом ректора, вместо того чтобы стоять от дома моего хозяина на полчетверть льё, отстоял бы, например, на четверть льё, это привело бы к тому, что из двух речей, сплавленных воедино, могла бы выйти речь смягченная, пластичная, гармоничная; в действительности же дом ректора находился недостаточно далеко для того, чтобы хватило времени разрушить мою первую уже готовую речь, и слишком близко для того, чтобы из ее руин выстроить вторую – новую.

Так что я вошел к ректору, совершенно не ведая, что мне ему сказать, ибо ум мой разрывали две противоположно направленные силы; а поскольку, как Вам известно, дорогой мой Петрус, по закону динамики две такие равные силы взаимно уничтожаются, Вы не удивитесь, если я скажу Вам, что в ту минуту, когда слуга открыл мне дверь в прихожую ректора, мой ум полностью бездействовал.

Но у меня еще теплилась надежда: поскольку Господь щедро одарил меня то ли верой в него, то ли уверенностью в себе самом, этот щедрый дар надежды, который окрашивает будущее в самые яркие цвета, блекнувшие, правда, по мере превращения будущего в настоящее, а настоящего – в прошлое, тем не менее сотворял из моей жизни долгую благодарственную песнь во славу Всевышнего.

¹⁵¹ Ирландия была (и частично ею остается до сих пор) первой английской колонией. Начавшееся в XII в. ее завоевание и подавление национально-освободительного движения сопровождалось чудовищными жестокостями и ограблением страны. Поэтому многие ирландцы, несмотря на установившиеся несколько веков назад тесные связи с метрополией, относятся к Англии враждебно. Со своей стороны англичане относятся к ирландцам как к возмутителям спокойствия, зачастую иронично.

Мне оставалось надеяться только на то, что у ректора окажутся посетители и он не сможет принять меня тотчас, а пока он освободится, я приведу в порядок свои мысли; обладая той ясностью суждений, которая составляет мою гордость, я рассчитал, что мне потребуется не более получаса для того, чтобы профильтровать и придать прозрачность моей речи, сколь бы мутной она дотеле ни была.

К несчастью, ректор оказался свободен.

– Господин ректор, – обратился к нему слуга, – вы позволите войти господину Бемроду, сыну покойного бистонского пастора?

Я услышал, как ректор неприятным голосом отозвался:

– Пусть войдет!

При этом ответе у меня покраснели щеки и выступил пот на лбу.

Слуга повернулся и пригласил меня:

– Входите, господин ректор может вас принять. Глаза мои застлало облако; покачиваясь, я двинулся вперед и сквозь это облако увидел сидящего за письменным столом человека лет сорока пяти в домашнем халате из мольтона,¹⁵² голову его покрывала камилавка из черного бархата; принял он меня, полуоткинувшись назад, положив левую руку на подлокотник кресла, а правой поигрывая инструментом, который сначала показался мне похожим на кинжал, но вскоре я разглядел, что это был обычный нож для разрезания бумаги.

В такой небрежной позе, преисполненной достоинства, ректор предстал моему взору столь величественным, что я так разволновался, как будто меня ввели в кабинет августейшего короля Георга II¹⁵³ и поставили прямо перед ним.

Поэтому, дорогой мой Петрус, Вам легко понять, что происходило между ректором и мною. Вместо того чтобы сразу же одержать над ним верх, задавая ему вопросы, атакуя, подчиняя его своей воле, я дал ему возможность обратиться ко мне первым и спросить о цели моего визита, причем голос его был так тверд и четок, а взгляд так глубок, что я, и без того уже расстроенный из-за нехватки времени для слияния двух речей в одну, смущенный этим металлическим голосом и пронзительным взглядом, едва смог пробормотать что-то о занятиях богословием, деревенском приходе и евангелическом призвании.

Однако, слушая мое бормотание, с прозорливостью, делающей большую честь его уму, ректор сумел догадаться, чего же я желаю.

На губах его промелькнула едва заметная презрительная усмешка, и он ответил, или, поскольку слух мой был расстроен вместе с другими чувствами, мне послышался его ответ, что я очень юн; что люди старше меня и с большими заслугами ждут годами по сей день; что все приходы, находящиеся в его распоряжении, уже обещаны другим; что он в свете справедливости и беспристрастности считал бы преступлением передавать мне место, обещанное другому; что он, следовательно, предлагает мне продолжить мое образование, нуждающееся, по его мнению, в завершении, и года через два снова нанести ему визит.

Тогда я стал его умолять, бормоча еще невнятнее, сделать милость и внести мое имя в его записную книжку, с тем чтобы оно, время от времени попадаясь ему на глаза, напоминало о моей особе.

Однако в ответ он сказал (по крайней мере, мне так послышалось), переходя от презрительной улыбки к насмешливому тону, что пусть, мол, его покинет ангел-хранитель, если он забудет о человеке, явившем ему одну из самых редких и драгоценных христианских добродетелей – смирение.

¹⁵² Мольтон – мягкая шерстяная или хлопчатобумажная ткань с начесом на одной или обеих сторонах, напоминающая плотную фланель.

¹⁵³ Георг II (1683–1760) – король Великобритании и Ирландии и курфюрст Ганноверский с 1727 г.; занимался преимущественно делами курфюршества, направлял в его интересах внешнюю политику и ресурсы Англии; делами королевства интересовался мало, предоставив правление кабинету министров; основал университет в Гёттингене.

И правда, согнувшийся в поклоне, невнятно бормочущий, я должен был внушать этому человеку – сообразно природной надменности его ума или же милостивому расположению его духа – или крайнее презрение, или глубочайшую жалость.

Не знаю, какое из этих чувств было внушено мною ректору, но я раскланялся с ним в состоянии душевного разлада, похожего на идиотизм, а оно за ректорским порогом перешло в ярость против этого дома, расположившегося так неудачно по отношению к дому моего хозяина-медника, и против слуги, который, вместо того чтобы дать мне время для размышлений, тотчас ввел меня к ректору.

Мой хозяин-медник ждал меня у своей двери, глядя на дорогу, по которой я должен был возвратиться.

Заметив меня издали, он понял, что ничего хорошего из моего визита к ректору не получилось; когда я подошел поближе, он покачал головой и сказал:

– Дорогой господин Бемрод, я очень хорошо знал, что ваша речь слишком красива! Вы намеревались высказать ректору мысли такие смелые, что они должны были его уязвить настолько, что он не мог не отказать вам в просьбе получить приход. О, так уж устроены люди: они не могут простить тем, кто, с их точки зрения, зависит от них, превосходство, которое все меняет местами и на деле превращает подопечного – в покровителя, а покровителя – в подопечного... Господин ректор не захотел ваших цепей, даже если они из золота, не так ли? Отсюда ваша грусть, дорогой господин Бемрод; но, признаюсь вам, видя вашу уверенность в успехе предстоящего визита, я предугадывал ваше разочарование после него... Ну что же, расскажите-ка мне, как все происходило!

– Дорогой мой хозяин, – величественно ответил я ему, – понимаю, что я действительно, как вы и говорите, произвел на господина ректора довольно неприятное впечатление. Я ошибся, мой славный друг, и сразу же осознал, что мне вовсе не пристало кого-то умолять... Что ж, пусть будет так, – полный решимости, продолжал я, потрянув головой, – если такова воля Провидения, я сам без посторонней помощи проложу себе путь; для меня будет тем более почетно добиться успеха без чьего-либо покровительства, без милостей, без интриг и своим состоянием быть обязанным только собственным талантам и добродетелям!

– О, как хорошо обдуманно и прекрасно сказано, дорогой господин Бемрод! – воскликнул мой хозяин. – И как я сожалею, что вас не слышала моя добрая приятельница, жена ашборнского пастора! Это умная женщина: ей достаточно нескольких ваших слов, чтобы составить суждение о вас, и, быть может, она даст вам добрый совет; впрочем, ничего еще не потеряно: она в лавке разговаривает с моей женой; мы вместе пообедаем... Доставьте мне удовольствие видеть вас за нашим домашним обедом.

О лучшем я и не мечтал; не раз, желая как можно дольше сохранить в целости оставшиеся у меня три-четыре фунта стерлингов, я съедал на обед только ломоть хлеба и кусок копченой говядины, запивая их стаканом воды; не раз аппетитный запах кухни из нижнего этажа дома поднимался до моей комнаты и приятно дразнил мне обоняние.

Этот запах выступил таким красноречивым адвокатом на стороне хозяина, что я, не принимая в расчет интеллектуальную и общественную дистанцию между оратором и медником, согласился воспользоваться его предложением.

И вот он впереди меня вошел в лавку и крикнул супруге:

– Дорогая жenuшка, поблагодари господина Бемрода – он согласен оказать нам честь, отобедав вместе с нами.

Затем он повернулся к незнакомке, беседовавшей с его женой, и добавил:

– Моя дорогая госпожа Снарт, поскольку вы женщина святая и, следовательно, порой вас наставляет сам Господь, позвольте представить вам молодого человека, чье имя вам не так уж незнакомо; он сейчас весьма нуждается в том, чтобы такая разумная женщина, как вы, дала ему добрый совет. Это сын достопочтенного господина Бемрода, покойного бистонского пастора;

молодому человеку господин ректор только что отказал в приходе, и он, не имея иного шанса на успех, теперь хотел бы достичь цели собственными силами.

Затем он снова обратился ко мне:

– Господин Бемрод, расскажите сами госпоже Снарт, что произошло между вами и господином ректором, а также о вашем стремлении посвятить себя евангелическому служению, прекрасный и святой путь к которому наметил для вас ваш отец.

Я уже говорил вам, дорогой мой Петрус, насколько хорошо я владею ораторским искусством, выступая перед людьми положения более низкого, чем мое, или равного ему.

Так что я сразу же принял приглашение моего хозяина и, более или менее подробно пересказав г-же Снарт мою беседу с ректором, изобразил ей, в соответствии со своими представлениями, настолько преисполненную милосердия, сердобольности и умиления картину жизни деревенского пастора в его взаимоотношениях с прихожанами, составляющими в некотором роде его большую семью, что на глазах у достойной женщины выступили слезы, в то время как моя хозяйка рыдала, а ее почти столь же растроганный муж воскликнул, вытирая глаза тыльной стороной своей почерневшей ладони:

– Ну, что, жена, я тебе говорил?.. Ну, что я вам говорил, госпожа Снарт?..

И, видя впечатление, произведенное мною на этих славных людей, восхищаясь своим врожденным красноречием, которое произвело такое действие, я спрашивал себя, не находя ответа на этот вопрос, почему часом ранее я не мог столь же красноречиво разговаривать с ректором, и все больше убеждался в том, что каждый раз, когда меня постигали подобные неудачи, это неизменно означало, что сам рок борется с моим гением.

Вот тут-то и проявилась у достойной г-жи Снарт та точность и прямота суждений, о которых говорил мне мой хозяин.

– Дорогой господин Бемрод, – обратилась она ко мне (глаза ее были еще влажны от слез, а волнение в голосе доказывало, что слезы ее шли от сердца), – мой дорогой господин Бемрод, ваше решение добиться успеха в жизни самому, без чьего-либо покровительства и без интриг, благородно, отважно, и я приветствую его от всей души. Теперь поговорим о том, каким же образом достигнуть цели. Сейчас я вам подскажу способ...

– Ах, дорогая моя госпожа, – вскричал я, – как же я буду вам обязан, если вы откроете передо мной поприще, которое, придавая мне уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, даст мне возможность прославить мое имя и удивить моих современников великим творением, которое я замышляю и для которого мне нужны одновременно уединение, тишина и покой!.. Дорогая моя госпожа Снарт, беру на себя торжественное обязательство посвятить вам это произведение и тем самым перед лицом потомства выразить вам всю мою признательность!

Добрая женщина грустно улыбнулась и заговорила:

– Господин Бемрод, то, что вы мне сейчас предлагаете в знак благодарности за небольшую услугу, которую я собираюсь вам оказать, предполагая даже, что я ее вам окажу, вовлекает нас в суетность этого мира, суетность, от которой я давно отреклась. Побеспокоимся же о том, если вам угодно, чтобы обеспечить вам уединение, тишину, покой, необходимые для создания задуманного вами великого произведения, и, когда оно будет завершено, вы наверняка найдете человека, заслуживающего вашего посвящения больше, чем я.

– Никогда, госпожа Снарт, никогда! – воскликнул я. – Если мне и удастся создать великое произведение, так это только благодаря вам, а значит, вам оно и должно принадлежать; но теперь вы, с присущей вам верностью суждений, которая вызывает у меня восхищение, и я прежде всего подумаю о самом неотложном – о том, как мне добиться известности и, следовательно, самому достичь успеха.

– Это очень просто, господин Бемрод, и невелика заслуга найти способ для этого. У окрестных пасторов, знавших вашего достопочтенного отца, попросите разрешения один раз вместо них произнести проповедь перед их прихожанами, и они несомненно не откажут вам в

этой просьбе. Сюжеты для ваших проповедей возьмите из Ветхого или Нового завета, сюжеты, дающие самое широкое поле для вашего красноречия; таким образом составьте себе репутацию в деревнях и городках графства Ноттингем, и, я не сомневаюсь, что при первой же вакансии жители одной из деревень или одного из городков сами попросят вас быть их пастором. Господин ректор, пусть даже у него есть против вас предубеждение, вынужден будет удовлетворить подобную просьбу. У вас появится свой приход, и в то же время вы получите удовлетворение от мысли, что обязаны этим собственному усердию.

– О дорогая моя госпожа Снарт! – вновь воскликнул я – Мой хозяин говорил мне, что вы можете дать добрый совет!.. Да, я поднимусь на кафедру; да, я буду проповедовать; да, я восславлю Господа и сокрушу силы зла с высоты своего красноречия... Чувствую, что меня уже воодушевила идея говорить перед людьми, которых я столь долго изучал и теперь столь хорошо знаю! Мне нужна лишь возможность для этого!.. Вы, дорогая госпожа Снарт, так много сделавшая для меня, предлагаете мне такую возможность, и не только первое мое произведение я посвящу вам, но и второе, и третье, и все, которые я сочиню!

– Полноте, господин Бемрод, – возразила на это г-жа Снарт, – к несчастью для меня, такая возможность является единственной, и мне не нужно искать далеко: мой муж, хворающий уже больше года, не покидает постель вот уже три недели. Наши прихожане, которым он привык нести слово Божье, нуждаются в том, чтобы его кто-то заменил. Сегодня же вечером, возвратившись домой, я сообщу мужу о вашем желании, и, один раз предоставив вам свою кафедру, пастор Снарт тем самым покажет пример, и тогда все кафедры в окрестностях будут для вас открыты.

– О моя добрая госпожа Снарт! – воскликнул я, испытывая еще большую признательность к достойной женщине. – Клянусь душой, вы спасаете мне жизнь!

– Итак, когда вы желаете произнести проповедь?

– Как можно скорее... тотчас же... завтра, если господин пастор Снарт будет согласен.

– Завтра – это несколько рановато, – с той же мягкой и грустной улыбкой заметила добрая женщина. – Требуется какое-то время, чтобы придать торжественность вашему дебюту.

– Тогда в ближайшее воскресенье, моя дорогая госпожа, но, умоляю вас, не позднее... Я сгораю от желания сделать первый шаг на этом поприще... Ближайшее воскресенье, не так ли?

– А вы помните, что сегодня уже вторник?..

– Да, и в моем распоряжении четыре дня, не считая утра пятого; большего мне и не нужно, дорогая госпожа Снарт, это даже больше, чем мне потребуется.

– Вы знаете лучше, чем я, возможности вашего ума и богатства ваших познаний, господин Бемрод, так что выбранный вами день будет и нашим днем.

– Ну, а как... господин Снарт? – спросил я обеспокоенно.

– Господин Снарт завтра письмом поблагодарит вас за услугу, которую вы ему оказываете.

– Так что ближайшее воскресенье! – радостно воскликнул я.

– В субботу вечером, господин Бемрод, я предложу вам постель в нашем доме, а в воскресенье утром церковь, кафедра и деревня Ашборн будут в вашем распоряжении.

Я собирался броситься к ногам доброй г-жи Снарт и обнять ее колени, но в это время объявили, что обед подан.

– Пойдемте, пойдемте, дорогой господин Бемрод; предложите руку госпоже Снарт – и к столу!.. Ведь в мире только одно может быть хуже скучной проповеди – это остывший обед, и, ради Бога, не сочтите мои слова за намек на вашу воскресную проповедь, которая, уверен, окажется верхом совершенства, – заявил мой хозяин.

– К столу, – повторил я, – к столу!.. Не знаю, хорош ли ваш обед, но вы увидите, какой будет моя проповедь!

Обед моего хозяина-медника оказался превосходным; какой оказалась моя проповедь, Вы узнаете из моего следующего письма, дорогой мой Петрус.

V. Третий совет моего хозяина-медника

На следующий день я действительно получил от г-жи Снарт письмо, сообщившее мне, что данное ею накануне обещание одобрено ее мужем и что, поскольку моя проповедь уже объявлена в деревне, прихожане Ашборна рассчитывают услышать меня в ближайшее воскресенье.

Я же не стал дожидаться этого письма, чтобы взяться за дело и, получив любезное предложение славной г-жи Снарт, сразу же после обеда у моего хозяина начал готовить свою проповедь.

То ли потому, что я пребывал в возбужденном душевном состоянии, то ли потому, что мне пришла в голову мысль произвести сильное впечатление и удивить аудиторию своей суровостью, я решил темой предстоящей проповеди сделать пороки нашего века и испорченность современных нравов.

Тема была великолепна, ослепительна, безгранична.

Если бы мне пришлось говорить перед королевскими дворами Франции, Испании или же Англии, ничуть не сомневаюсь, что подобная проповедь из уст Боссюэ¹⁵⁴ – а она, воистину, была достойна его – произвела бы сильное впечатление; но, наверное, для маленькой деревни с пятью сотнями жителей, такой, как Ашборн, для неискушенных умов, не ведающих о большей части тех пороков, какие собирался я громить; для населения, чьи будни целиком были посвящены труду, а воскресные часы – благочестию и отдыху; для людей, среди которых пьяницы, лентяи и дебоширы являлись исключением из правила, подобная проповедь, наверное, повторяю, была совсем неуместна.

К несчастью, этого-то я и не понимал и сделал то, что сделал бы драматический поэт, который сочинил бы пьесу вроде «Гамлета» или «Дон Жуана»¹⁵⁵ с полусотней действующих лиц, в двадцати пяти картинах, для театрального марионеточного труппы, где реальный живой актер, стоя, поднимал бы задники, подобно тому как Юпитер Олимпийский¹⁵⁶ Фидия приподнял бы свод храма, если бы ему вздумалось привстать со своего трона из золота и слоновой кости.

Вместо того чтобы здраво судить о театре и зрителях, я сам был ослеплен блеском моей темы; я хмелел от волн собственного красноречия и в субботу утром, спускаясь из своей комнаты к хозяину, чтобы прочесть ему мою проповедь, совершенно искренне сожалел о том, что такие люди, как Кальвин,¹⁵⁷ Уиклиф,¹⁵⁸ Цвингли,¹⁵⁹ Боссюэ, Фенелон,¹⁶⁰ Флешье,¹⁶¹ Бур-

¹⁵⁴ Боссюэ, Жак Бенинь (1627–1704) – французский писатель и церковный деятель, епископ Мо, города неподалеку от Парижа; автор сочинений на исторические и политические темы; консерватор; известный проповедник.

¹⁵⁵ «Дон Жуан» – вероятно, имеется в виду пьеса Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость», которая написана на весьма распространенный сюжет испанской драматургии о распутнике и вольнодумце, увлеченном дьяволом в ад. Из всех пьес на эту тему пьеса Мольера в XVII-первой пол. XVIII вв. была, несомненно, самой значительной. Автор фактически перенес ее действие на французскую почву и использовал сюжет для обличения нравов французской аристократии.

¹⁵⁶ Здесь имеется в виду статуя Зевса Олимпийского, изваянная великим древнегреческим скульптором Фидием (ок. 490 – после 430 до н. э.) и облицованная золотом и слоновой костью; она датируется примерно 433 г. до н. э. Зевс (рим. Юпитер) – верховный бог-громовержец, царь богов и людей в античной мифологии.

¹⁵⁷ Кальвин, Жан (1509–1564) – крупнейший деятель Реформации, основатель радикального направления, носящего его имя; выходец из Франции и житель (фактически – правитель, хотя и не занимал никаких официальных постов) Женевы.

¹⁵⁸ Уиклиф, Джон (ок. 1320–1384) – английский религиозный реформатор, священник, профессор теологии Оксфордского университета; перевел Библию на английский язык (1382); выступал с проповедью главенства государства над церковью, став таким образом предшественником бюргерско-буржуазного направления в протестантизме.

¹⁵⁹ Цвингли, Ульрих (1484–1531) – идеолог и вождь бюргерско-буржуазного направления швейцарской Реформации, гуманист; родился в крестьянской семье, учился в Венском и Базельском университетах; магистр искусств; в 1506 г. посвящен в сан; с 1518 г. и до конца жизни – священник в Цюрихе; решительно выступал против обрядовой стороны католичества, монастырского владения имуществом, был убежденным республиканцем; вместе с тем боролся против массового антифеодалного крестьянского движения.

¹⁶⁰ Фенелон, Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651–1715) – французский писатель, педагог и религиозный деятель, член

дали,¹⁶² и Массильон¹⁶³ что, наконец, все проповедники, жившие когда-то или живущие ныне, не соберутся завтра в маленькой церкви Ашборна, с тем чтобы раз и навсегда получить урок религиозного красноречия.

По моему важному и самодовольному виду медник прекрасно понял: произошло что-то новое.

– Ну, что хорошего скажете, мой дорогой господин Бемрод? – спросил он.

– Скажу, мой досточтимый хозяин, что проповедь моя готова.

– И вы довольны? – поинтересовался он.

– Что за вопрос?! – откликнулся я с моим обычным чистосердечием. – Я считаю эту проповедь шедевром.

– Гм-гм, – только и произнес мой хозяин.

– Вы что, сомневаетесь? – бросил я высокомерно.

– Мой дорогой господин Бемрод, – ответил почтенный человек, – не знаю, бывают ли проповеди, похожие на кастрюли, и медники, похожие на проповедников, но мне постоянно встречались плохие работники, вполне довольные делом своих рук, в то время как мастера, настоящие мастера всегда ждут, чтобы похвала знатоков убедила их в достоинстве собственных творений.

– Ну что же, – согласился я, – ради этого-то я и спустился к вам, мой досточтимый хозяин, и теперь прошу вас высказать ваше мнение; я хочу прочесть вам мою проповедь, и, прослушав ее, вы скажете мне искренно, что о ней думаете.

– Вы оказываете мне слишком высокую честь, предлагая мне выступить в роли судьи (с этими словами мой хозяин приподнял шляпу). Спросите меня, из хорошей или плохой меди сделан котел, хорошо или плохо вылужена кастрюля, я отвечу вам смело и уверенно, поскольку тут я в своей стихии, но что касается проповеди, то каким бы ни было мое впечатление, хорошим или плохим, я не смогу даже сделать попытку обосновать свое мнение.

– В любом случае это будет суждение умного человека, мой досточтимый хозяин, и я прекрасно вижу, что вы знаете забавную историю об Апеллесе и башмачнике.¹⁶⁴

– Вы ошибаетесь, господин Бемрод, – просто ответил медник, – я ее не знаю.

– В таком случае я расскажу вам эту историю; она послужит отличным предисловием к моей проповеди, только вы предположите, что я – Апеллес, а вы – башмачник.

– Я предположу все, что вам заблагорассудится, господин Бемрод... Итак, ваша история.

Затем с восхищением, вызвавшим у меня признательность, он добавил:

– Ей-Богу, всякий раз после беседы с вами, дорогой господин Бемрод, я спрашиваю себя, откуда вам известно все то, что вы знаете?

Я с довольным видом улыбнулся и слегка поклонился, словно ловя на лету похвалу, сорвавшуюся с уст моего хозяина.

Французской академии, архиепископ города Камбре (с 1695 г.); автор богословских сочинений, повестей, педагогических трактатов, создатель жанра философско-политического романа.

¹⁶¹ Флешье, Эспри (1632–1710) – французский церковный деятель, епископ города Ним; религиозный писатель и проповедник.

¹⁶² Бурдалу, Луи (1632–1704) – известный французский проповедник-иезуит; с 1669 г. пользовался большим авторитетом при дворе, где особенно ценили его проповеди во время постов и т. н. «адвенты Бурдалу» – богослужения в последние четыре недели перед Рождеством; в 1685 г., после отмены Нантского эдикта, т. е. ликвидации указа о веротерпимости, был послан в Лангедок для наставления новообращенных католиков; один из самых суровых священнослужителей своего времени.

¹⁶³ Массильон, Жан Батист (1633–1742) – знаменитый французский проповедник, священник и преподаватель богословия; член Французской академии с 1719 г.

¹⁶⁴ Имеется в виду ставший легендарным эпизод, когда некий башмачник указал Апеллесу на неправильное изображение ремней на котурне. Апеллес исправил ошибку, но, когда башмачник снова стал давать ему советы, ответил: «Не суди о том, что выше котурна».

– Апеллес, – начал я, – был знаменитым художником родом из Коса,¹⁶⁵ Эфеса,¹⁶⁶ или Колофона¹⁶⁷ его биографы, так же как и биографы великого Гомера, не пришли к единому мнению о месте его рождения. Известно только то, что Апеллес творил за триста тридцать два года до Рождества Христова.

– Черт побери! – улыбнувшись, прервал меня медник. – Шутка ли – за триста тридцать два года до Иисуса Христа! Это же не вчера, господин Бемрод, так что я ничуть не удивляюсь, что люди не помнят место его рождения... Через две тысячи лет кто будет знать, где родились мы, я и вы, господин Бемрод?!

– О друг мой, что касается меня, это будет известно, ведь для того чтобы потомство не оставалось в сомнениях или не впало в ошибку на этот счет, я в предисловии к великому произведению, которое сразу же прославит мое имя, не забуду сообщить, что я родился двадцать четвертого июля тысяча семьсот двадцать восьмого года в деревне Бистон. Однако вернемся к Апеллесу, который пренебрег подобной предусмотрительностью и оставил потомство в сомнениях.

– Слушаю, дорогой господин Бемрод; вы действительно говорите словно по писаному!

– Итак, я сказал, что Апеллес творил за триста тридцать два года до рождения Иисуса Христа. Жил он сначала при дворе Александра Македонского, а затем при дворе Птолемея.¹⁶⁸ Был он великим тружеником, живописцем, ни единого дня не проводившим без кистей, как я не провожу ни единого дня без пера, и, поскольку отличался скромностью, свойственной огромному дарованию, показывал картины всем и выслушивал мнения даже самых простых людей.

– Так же, как вы, дорогой господин Бемрод, ведь вы теперь желаете знать мое мнение, – прервал меня медник.

– Слушайте дальше, друг мой, – продолжал я. – Однажды башмачник, затесавшийся в толпу зрителей, сделал столь верное замечание насчет сандалий одного из персонажей картины, что Апеллес поблагодарил его и исправил указанный им недостаток; «хирурга старых башмаков», по выражению нашего замечательного Шекспира, это преисполнило такой гордостью, что на следующий день он, не довольствуясь только критикой изображенных сандалий, принялся оценивать и все остальное на картине; но на этот раз Апеллес быстро оборвал его замечания и, положив руку на плечо своего критика, сказал: «Башмачник, не суди выше башмака!», что на латыни звучит так: «*Ne sutor ultra crepidam!*», а по-гречески: «*Με υπερ τῶν ὑποβῆμα, οὐκ ἔστι τομὴ!*»

– Хорошо сказано, дорогой господин Бемрод; однако, если только в вашей проповеди речь идет не о кухонной посуде, что я смогу сказать вам о вашем красноречии, поскольку вы, наверное, ответите мне так, как Апеллес сказал своему башмачнику: «Медник, не суди выше кастрюли!»

¹⁶⁵ Кос – второй по величине из островов Додеканес (Южных Спорад) в Эгейском море; был заселен еще в микенскую эпоху; во время дорийского переселения им завладели дорийцы; в греко-персидских войнах участвовал на стороне персов, затем примкнул к Первому и Второму Афинскому союзу, однако в IV в. рассорился с Афинами и в эллинистическую эпоху находился под властью Египта; славился производством и экспортом одежды из прозрачных тканей, а также школой врачей, основанной Гиппократом.

¹⁶⁶ Эфес – прибрежный город на западе Малой Азии, в бухте Каистра (соврем. Кушадасы в Турции), при впадении в нее реки Каистр (соврем. Малый Мендерес), в 30 км к северо-востоку от острова Самос; основан греками в XII в. до н. э.; торговый, ремесленный и религиозный центр; в нем находилось одно из т. н. «семи чудес света» – храм Артемиды Эфесской.

¹⁶⁷ Колофон – древнегреческий город на западном побережье Малой Азии; существовал до кон. III в. до н. э.; входил в число семи древнегреческих городов, притязавших на право считаться родиной Гомера.

¹⁶⁸ Птолемей Лаг (ок. 366–283 до н. э.) – полководец Александра Македонского, в качестве своей доли наследства после смерти великого завоевателя получивший Египет и в 305 г. до н. э. ставший его царем под именем Птолемея I Сотера.

– Не похвал и не критических замечаний по адресу моей проповеди жду я от вас, дорогой мой хозяин; просто я прошу вас быть моей аудиторией и сказать, какое впечатление произвела на вас моя проповедь.

– О, если вы не просите о чем-то большем, мой дорогой господин Бемрод, то это дело нетрудное, и я сделаю все, как вы пожелаете... Так что начинайте: я слушаю.

– Садитесь, чтобы все было точно так, как в церкви... Я говорю для людей сидящих, а Цицерон установил различие между речами, предназначенными для сидящей аудитории, и речами, предназначенными для аудитории стоящей.

– Итак, я буду сидеть, господин Бемрод, раз вы того желаете.

И он сел.

Я же продолжал стоять, поскольку проповедник за кафедрой стоит, что облегчает ему речь и дает возможность разнообразить жестикуляцию.

Затем я откашлялся, сплюнул, как это у меня на глазах делали самые разные проповедники во время проповедей, на которых я присутствовал, и начал читать.

Между нами говоря, мне следует Вам признаться, дорогой мой Петрус, что я стал читать свою проповедь моему хозяину не только ради того, чтобы узнать его мнение, но и с тем, чтобы подготовиться к завтрашнему торжеству, чтобы это чтение послужило мне генеральной репетицией, как это называется у сочинителей трагедий и драм.

Поэтому я не пренебрег ни одним из тех приемов красноречия, которые и являют собой ораторское искусство; я пустил в ход то, что Цицерон считает нужным для человека, говорящего публично, – плавную речь, приятное лицо и благородную жестикуляцию.

Голос, жест и весь свой облик я привел в соответствие с отточенным мастерством; я был высокомерен, говоря о сильных мира сего, имеющих гораздо меньше шансов попасть на Небо, чем самый смиренный нищий; я был мрачен и суров, обличая пороки нашего времени и испорченность нравов; я представлял грозным, беспощадным, испепеляющим, перечисляя мучения, которые уготованы грешникам в семи кругах ада, описанных Данте,¹⁶⁹ великим флорентийским поэтом; к заключительной части проповеди я добрался настолько разбитый собственной жестикуляцией и горячностью, сопровождавшими мою речь, что на последней фразе, а вернее, на последнем слове этой фразы – ведь воодушевление не покидало меня до конца, – я упал на стул, стоявший, к счастью, у меня за спиной, а это значит, что я упал бы прямо на пол, если бы там не было стула!

Я уже был не в силах произнести и слова, но взглядом спрашивал моего хозяина о его впечатлении.

Медник продолжал сидеть молча, почесывая ухо.

– Ну, что? – спросил я его наконец, уже несколько обеспокоенный его затянувшимся молчанием.

– Что ж, – сказал он, – то, что вы сейчас прочли, господин Бемрод, прекрасно.

– Ах! – гордо выдохнул я, кивнув в знак согласия.

– Однако... – отважился мой медник, без сомнения колеблясь, продолжать ему или нет, памятуя историю об Апеллесе и башмачнике.

– Что однако?... – прервал я хозяина.

– Однако, я не предполагал, что вы такой недобрый, господин Бемрод... Ах, далеко же вы зашли! Знаете ли вы, что нам, бедным грешникам, вы делаете просто дьявольский выговор?

– Зло не во мне, мой дорогой хозяин, – гордо отвечал я, – оно в людях. Так что, поскольку я знаю людей, я сужу о них по их делам.

¹⁶⁹ Данте во второй части «Божественной комедии» делит Чистилище на семь кругов, в каждом из которых казнят грешников, собранных соответственно их преступлениям и подвергающихся определенным мукам; в последнем, седьмом круге, ближе всего расположенном к Раю, очищаются сладострастники.

– Э, дорогой мой господин Бемрод, – возразил медник, – я вот за всю мою жизнь только один раз побывал на спектакле: случилось это в прошлом году, когда из Лондона в Ноттингем приехала труппа комедиантов. Играли какую-то пьесу, автора которой я не знаю, а название забыл; единственное, что мне запомнилось, так это изречение: «Если бы секли всех, кто того заслуживает, нашелся ли бы хоть один человек, уверенный, что ему кнут не грозит?»

Я узнал цитату из «Гамлета»,¹⁷⁰ и она, словно ледяной ветер ночи, о котором говорит принц Датский, обожгла мне лицо.¹⁷¹ Несколько уязвленный, я спросил:

– Таким образом, дорогой мой хозяин, вы утверждаете, что люди добры, что у них нет ни пороков, ни недостатков?

– Я не говорил, что люди добры, дорогой господин Бемрод. Сказано было другое: я не предполагал, что вы такой недобрый... Думаю, трудно будет вам убедить своих слушателей в том, что во всем мире вы единственный справедливый, честный, целомудренный, добропорядочный и мягкосердечный человек. А в целом, повторяю, проповедь ваша очень хороша, господин будущий пастор... однако жду вас завтра по возвращении из Ашборна. До свидания и доброго пути, дорогой господин Бемрод!

С этими словами он взял шляпу и вышел, оставив меня посреди своих котлов и кастрюль с текстом моей проповеди в руке.

Минуту я сидел, оглушенный суждением моего хозяина, затем, наконец встал, покачал головой и отправился в путь к деревне, где завтра мне предстояло дебютировать и где мне предложили столь трогательное отеческое гостеприимство.

Я решил идти пешком, чтобы сэкономить на карете, ибо, несмотря на мою бережливость и житейские лишения, число моих бедных гиней уменьшалось прямо на глазах.

Поскольку мне пришлось проделать долгий путь длиною в семь льё по малолюдной дороге, мне то и дело вспоминалось суждение моего хозяина.

По мере того как я от него удалялся, приближаясь к деревне, где мне предстояло прочесть проповедь, раздражение мое против бедного человека слабело, и мало-помалу мне стало казаться, что, несмотря на всю суровость, мнение его, однако, не лишено было оснований.

И верно, по какому праву, я, молодой человек двадцати трех лет от роду и, следовательно, моложе большинства прихожан, вознамерился подавить их тяжестью моей суровости и ставить им в упрек пороки, о каких они, может быть, и не ведали, и преступления, каких они безусловно не совершали?

Я вовсе не был их пастором, я не жил среди них; все эти обращенные ко мне лица я увижу впервые.

Возвышаясь над ними в качестве их судьи, не подвергнусь ли я сам их суду?

Мое глубокое знание людей, которое они не могут даже оценить, могло ли оно послужить мне извинением?

И действительно, многое из того, что мой хозяин-медник мог добавить к своим словам, он не произнес прежде всего потому, что я не – дал ему времени для этого, и, быть может, также потому, что здравый смысл помогал ему схватить целое, не охватив множество подробностей.

Конечно, от всего этого проповедь моя не становилась менее прекрасной; это нисколько не мешало ей оставаться великолепным образцом красноречия, однако я спрашивал себя, стоит ли расточать его перед существами невежественными и грубыми.

Не означало ли это выбрать неверный путь и, попросту говоря, метать жемчуг перед свиньями?

¹⁷⁰ Вероятно, имеются в виду слова: «Если принимать каждого по заслугам, то кто избежит кнута?» («Use every man after his desert, and who should scape whipping? – II, 2; пер. М.Лозинского).

¹⁷¹ Вероятно, имеются в виду слова Гамлета: «Как воздух щиплет: большой мороз» («The air bites shrewdly; it is very cold» – I, 4; пер. М.Лозинского).

Подобные размышления одолевали меня на протяжении всего пути, и, повторяю, с каждым моим шагом они становились все неотвязнее.

К несчастью, я не имел времени сочинить другой текст: мою проповедь назначили на завтра, и завтра ее будут ждать.

Я решил пересмотреть мой текст ночью, смягчив главные резкости, а также изъясив слишком уж горячие пассажи.

К этим исправлениям меня подвели мои собственные раздумья, вызванные наблюдениями моего хозяина-медника, а также внушенные местным пейзажем и видом жителей края.

Край этот являл собой прелестную равнину, уже золотящуюся под теплыми летними лучами, где повсюду виднелись очаровательные, похожие на оазисы купы деревьев; пейзаж оживляли крестьяне, занятые последними сезонными работами в поле.

Все они, своими трудами и песнями дававшие жизнь этой равнине, выглядели людьми честными, не таящими скверных мыслей и не способными на злые деяния.

Так что, увидев издали колокольню той деревни, куда лежал мой путь, я еще больше убедился, что и на этот раз, как всегда, прав был мой хозяин-медник, а я ошибался.

С таким чувством я и пришел в пасторский дом.

Добрая г-жа Снарт ждала меня у дверей; она повела меня к своему мужу, целый месяц лежавшему на кушетке и уже не встававшему, поскольку он умирал от туберкулеза легких.

Больной протянул мне руку, поприветствовал меня угасшим голосом и предложил сесть рядом с его кушеткой – за стол, накрытый для его жены и для меня.

Я прошел семь льё пешком, я был молод и здоров и отнюдь не страдал отсутствием аппетита; мне потребовалось совсем немного времени, чтобы пройти в приготовленную для меня маленькую комнату, белую, словно комната невесты, привести себя там в порядок и вновь присоединиться к моим хозяевам.

Судя по всему, они, не будучи богатыми, тем не менее были вполне обеспеченные люди.

И правда, пастор сообщил мне, что приход приносит ему в год девяносто фунтов стерлингов, а этого вполне хватало на жизнь в деревеньке с пятьюстами обитателями.

Поэтому все в пасторском доме было свежим, все сияло чистотой – белье, фаянс, столовое серебро.

Маленькое хозяйство вела одна-единственная служанка, однако она отличалась опрятностью, ухоженностью, улыбчивостью, приветливостью, умением читать в глазах хозяев их желания и выполнять их, не ожидая распоряжения.

Если не считать умирающего, который, впрочем, как все чахоточные, не догадывался о состоянии своего здоровья и строил радужные планы на время после выздоровления, все выглядело благословенным вокруг кушетки, на которой умирал пастор.

И только когда глаза мои останавливались на грустном лице его супруги и замечали обеспокоенный взгляд служанки, я понимал, что в этом доме, с одной стороны, затаилось огромное страдание, а с другой – поселился великий страх, который обе женщины боялись обнаружить перед больным, стараясь спрятать его даже от самих себя.

Я вошел в дом пастора в пять вечера; обед, который следовало бы назвать скорее ужином, длился до половины седьмого.

Когда мы встали из-за стола и я собрался уйти, до сумерек, следовательно, оставалось еще два часа.

Говорю: «когда я собрался уйти», поскольку, беспрестанно мучимый этой злосчастной проповедью, о которой ни на минуту не забывал и которая все больше представлялась мне неуместной, я решил прогуляться по деревне и завязать более близкое знакомство с обитателями Ашборна.

Господин и госпожа Снарт, которые уже говорили мне о простосердечии и чистоте нравов этих славных людей, со своей стороны тоже предложили мне совершить прогулку, словно они

сумели прочесть в глубине моего сердца мои тревоги и угадали, что мне для обдумывания своих мыслей необходимо созерцать один из мягких деревенских вечеров.

Итак, я вышел, обводя все вокруг беспокойным и испуганным взглядом и больше всего страшась убедиться, что перед моими глазами протекает жизнь безгрешная и спокойная!..

Увы, дорогой мой Петрус, даже вечер золотого века¹⁷² не мог бы быть более мирным и более радостным, чем этот представший моему взгляду вечер, позолоченный последними солнечными лучами.

Старые матери сидели у прялок, поставленных прямо на улице перед порогом дома; старики беседовали, сидя на каменных или деревянных скамьях; мужчины среднего возраста играли в шары или в кегли; наконец, девушки и парни под звуки скрипки или флейты танцевали на деревенской площади в тени четырех высоких лип.

Во всем ощущалось, что это субботний вечер, то есть конец последнего дня трудовой недели; крестьяне радостно предвкушали предстоящий им завтрашний отдых, и все эти славные люди, хоть и не читавшие никогда Горация, уже забыв о прежней усталости и еще не беспокоясь о будущей усталости, словно повторяли слова этого принца поэтов и короля эпикурейцев: «Valeat res ludicra!»¹⁷³

К стыду моему, признаюсь, дорогой мой Петрус: эта картина, достойная кисти ван Остаде,¹⁷⁴ и Тенирса¹⁷⁵ вместо того чтобы порадовать, глубоко опечалила меня.

Мне хотелось бы слышать пьяные песни, шум и гул в трактирах, споры и драки на перекрестках.

Мне хотелось бы видеть, как эти парни и девушки, танцующие под присмотром бабушек и дедушек, группами украдкой ускользают из деревни, словно тени, и скрываются в поле.

Мне хотелось бы видеть, как богач отказывает в милостыне бедняку и как бедняк плачет и богохульствует.

Мне, наконец, хотелось бы, чтобы произошло что-то способное оправдать мою завтрашнюю проповедь, в то время как на самом деле, куда бы я ни кинул взгляд, я видел только мирные картины честной жизни обитателей деревни, развлекающихся без всяких скандалов и прерывающих свои забавы только ради того, чтобы приветливо поздороваться со мной и дружески мне улыбнуться, ведь наблюдая, как я, одинокий и всем чужой, брожу по деревенским улицам, люди догадывались, что я и есть тот молодой пастор без паствы, который в своем проповедническом рвении пришел бескорыстно сеять слово Господне на почве, оставшейся невозделанной из-за болезни одного из его братьев.

Я надеялся, что опускающаяся на землю тьма, эта мать дурных помыслов и злодейских поступков, что-то изменит к худшему в этой безгрешной деревне, похожей на одну большую семью.

Я ошибся.

¹⁷² Золотой век – распространенное в античном мире и сохранившееся в новое время мифологическое представление о счастливом и беззаботном состоянии первобытного человечества, когда земля давала урожай сама, когда не было распрей между людьми, не было горя, бед и болезней, когда люди жили долго, а умирали во сне и когда даже бытовые предметы делали из золота.

¹⁷³ Прочь забавы! (лат.) – «Послания», II, 1, 180 Эпикурейцы – последователи учения Эпикура (341–270 до н. э.), древнегреческого философа-материалиста, утверждавшего, что целью философии является обеспечение безмятежности духа, свободы от страха перед смертью и явлениями природы. Понятие «эпикурейство» часто употребляется и в переносном смысле – стремление к личным удовольствиям и чувственным наслаждениям. Полная латинская фраза приведенной здесь цитаты из Горация: «Valeat res ludicra, // Si me palma negata macrum, donata reducit opimum»; в переводе Н. Гинцбург: «Прощай, театральное дело, // Если, награды лишен, я тошаю, с наградой – тучнее».

¹⁷⁴ Остаде – семья голландских художников, представителей демократического направления в живописи, работавших в бытовом жанре. Наиболее известны из них Адриан ван Остаде (1610–1685) и его брат и ученик Исаак ван Остаде (1621–1649).

¹⁷⁵ Тенирс, Давид (Старший; 1582/1583–1649) – фламандский художник; писал пейзажи, сцены народного быта и картины на мифологические сюжеты; художником был и его сын Давид Тенирс (Младший; 1610–1690) – автор групповых портретов, пейзажей и полотен со сценами сельского и городского быта.

Наступили сумерки, а затем пришла и ночь – темная, словно ее призвали на помощь сам порок и само преступление.

Однако с наступлением ночи крестьяне разошлись по домам, обменявшись благочестивыми поцелуями или дружескими рукопожатиями; один за другим гасли огни; мало-помалу стих шум, и я, оказавшись в полном одиночестве, стоял посреди деревенской площади, со скрещенными на груди руками, опершись об одну из лип, осенявших радостный танец крестьян, стоял еще более темный и мрачный, чем окутавшая меня ночь!

На ночлег я возвратился потрясенным!..

VI. Мой ораторский дебют

Моя добрая хозяйка ждала меня, хотя совершенно не понимала, почему я так долго отсутствовал.

Она предложила мне выпить вместе с нею чаю, но я, сославшись на дорожную усталость и потребность в отдыхе, попросил у нее разрешения удалиться в свою комнату.

О, я не чувствовал усталости, я не испытывал ни малейшего желания спать, клянусь Вам в этом, дорогой мой Петрус!

Нет, мне хотелось в уединении заняться правкой моей проповеди.

На это у меня ушла вся ночь; всю ночь я только то и делал, что смягчал слишком суровые пассажи и ослаблял слишком яркие краски; затем я повторял вслух исправленный текст, запоминая его наизусть.

Увы, и после исправлений моя проповедь, похоже, оказалась бы уместной не столько в милой и прелестной деревеньке Ашборн, сколько в каком-нибудь Богом проклятом городе вроде Вавилона,¹⁷⁶ или Гоморры¹⁷⁷ Карфагена¹⁷⁸ или Содома, Лондона или Парижа!

Ах, какой эффект произвела бы эта злосчастная проповедь в соборе святого Павла!¹⁷⁹ или в соборе Парижской Богоматери¹⁸⁰

К концу этой ночи, одной из самых тяжелых в моей жизни, раздавленный усталостью, одолеваемый сном, я забылся в то время, когда первые солнечные лучи коснулись моего окна, пробившись сквозь листву виноградной лозы, левкой и цветущую гвоздику.

Этот болезненный двухчасовой сон больше утомил меня, нежели освежил. Наконец, отзвонили час дня, а я все еще склонялся над моей проповедью, усеянной сносками, помарками и скобками; сунув ее в карман, я зашагал к церкви.

В моем распоряжении оставалось еще около получаса; я вошел в ризницу, попросил перо и чернил и использовал эти полчаса для того, чтобы снова устранить все стилистические шероховатости этой незадачливой проповеди.

¹⁷⁶ Вавилон – греческое название семитского города Бабилина («Врата Господни») на Евфрате; в глубокой древности крупнейший город Месопотамии, столица Вавилонского царства – раннего рабовладельческого государства на месте современного Ирака, Сирии и Израиля в начале второго тысячелетия – VI в. до н. э.; неоднократно подвергался завоеваниям и ко II в. н. э. был совершенно разрушен. Согласно христианской традиции, Вавилон – вместилище греха, пороков и разврата, и в этом смысле его имя стало нарицательным.

¹⁷⁷ Содом и Гоморра – согласно библейской легенде, города, уничтоженные за тяжкие грехи их жителей небесным дождем из огня и серы (Бытие, 19: 23).

¹⁷⁸ Карфаген (финик. Карт-Хадашт, т. е. «Новый Город») – город, основанный в X в. до н. э. выходцами из Финикии (историческая область на восточном побережье Средиземного моря, населенная семитским народом финикийцев; римляне называли их пунийцами, отсюда название – «Пунические войны») на северо-западе Африки, близ нынешнего Туниса; после поражения во Второй Пунической войне (219–201 до н. э.) лишился всех владений вне Африки и даже не имел права вести войны без согласия Рима, но все же оставался сильным торговым конкурентом Рима в Средиземноморье. Используя как повод конфликт Карфагена с соседним племенем, Рим в 149 г. до н. э. объявил ему войну (Третья Пуническая война). После провала попыток римской армии взять Карфаген штурмом или даже успешно осадить его, новым командующим был назначен Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший (ок. 185–139 до н. э.); в 147 г. до н. э. он добился полной блокады Карфагена и в 146 г. до н. э. взял город штурмом. Все население Карфагена продали в рабство, город разграбили, разрушили и сожгли, его территорию символически посыпали солью (в знак того, что на ней ничего не должно расти) и наложили на нее проклятие.

¹⁷⁹ Собор святого Павла – одна из главнейших кафедральных церквей Лондона; построен в стиле классицизма во второй пол. XVII в. (закончен в 1710 г.) архитектором К.Реном (1632–1723); расположен в деловом центре Лондона, на месте древнейшего (согласно легенде, построенного в нач. I тыс. н. э.) одноименного собора, уничтоженного большим пожаром в 1666 г. В соборе святого Павла находятся могилы многих выдающихся английских военных и политических деятелей, ученых, художников и др.

¹⁸⁰ Собор Парижской Богоматери – один из шедевров французского средневекового зодчества, национальная святыня Франции; построен на острове Сите в XII–XIV вв.

Мной владело одно-единственное желание – превратить ее в нечто плоское и бесцветное; увы, как я ни старался, она оказалась не в меру богатой мыслями и слишком мощной по форме, чтобы опуститься до столь полного убожества.

И вот наступил страшный для меня миг; нетвердой походкой я взошел на кафедру. Нечего и говорить, людей пришло огромное множество; по деревеньке мгновенно распространился слух, что в первое воскресенье июня в ашборнской церкви проповедь прочтет приезжий пастор, молодой человек, заслуживающий самых высоких похвал, сын пастора Бемрода, наконец, поэтому церковь оказалась полна людей, и полна настолько, что сквозь открытые двери можно было видеть на паперти длинную вереницу людей, не сумевших протиснуться в церковь.

Все местные крестьяне стояли в праздничной одежде, открыв рты в напряженном ожидании и устремив на меня взгляды, полные нетерпеливого любопытства.

И вот именно тогда, дорогой мой Петрус, видя все эти бесхитростные честные лица, я понял, что среди всех собравшихся не найдется, быть может, ни одного мужчины и ни одной женщины, отмеченных одним из пороков, против которых я вознамерился метать молнии и ужасающий список которых разворачивался передо мной, словно армия призраков, то грозных, то насмешливых.

Я уже заранее видел удивление, ошеломленность и огорчение всех этих славных людей, когда они поймут, что я о них так плохо думаю; я уже заранее слышал их раздраженные голоса, обвиняющие меня в несправедливости, горячности, злобности; я уже заранее видел, как меня, несправедливо вошедшего в роль обличителя, судят справедливо, судят без жалости и милосердия, потому что я сам не нашел в себе ни милосердия, ни жалости.

Среди прочих присутствующих двое мужчин, два седовласых старика, подобных патриархам, с лицами мягкими и спокойными, стояли передо мной и смотрели на меня с улыбкой, как смотрели бы на собственного сына.

И что же?! Я уже представлял себе заранее, как эти два человека напрягаются, как омрачаются оба эти лица, а их благожелательная улыбка уступает место выражению гнева и презрения.

Если бы только мне хватило смелости, я заранее попросил бы у слушателей прощения за проповедь, с которой я вознамерился впервые выступить перед ними.

Ах, если бы мой хозяин-медник оказался здесь, клянусь Вам, дорогой мой Петрус, я припал бы к его груди со словами:

«Единственный друг мой, пожалейте меня и скажите всем этим людям, пришедшим послушать мою проповедь, что я человек злой и высокомерный, недостойный говорить с ними от имени Всевышнего, преисполненного доброты и милосердия!»

Но этого достойного человека здесь не было, и я тщетно смотрел по сторонам: ни одного знакомого лица, за исключением славной г-жи Снарт, ободравшей меня одновременно глазами, улыбкой и взглядом.

К счастью, все это время звучали религиозные песнопения; я воспользовался этой отсрочкой, чтобы еще раз пробежать взглядом мою тетрадь и попытаться внести туда последние исправления карандашом, но, поскольку сумятица в мыслях не позволяла мне это сделать, я ограничился тем, что рядом с некоторыми фразами начертал крестики, означавшие: «убрать».

Пение кончилось, голоса смолкли. Настала моя очередь.

Аудитория покашливала, отплеывалась, сморкалась, затем наступила глубокая тишина. Я начал!

Следуя проверенным предписаниям ораторского искусства, я приберег картину преступлений для второй части моей речи, а картину наказаний – для заключения.

Начало моей проповеди шло неплохо; здесь я живописал божественное милосердие, исчерпать которое способно только такое множество преступлений, что одно лишь отчаяние могло бы заставить Господа судить нас по справедливости.

Так что это вступление люди слушали не только с безусловной благожелательностью, но и с явными признаками удовлетворения. Тем не менее эти признаки благожелательности и удовлетворения, ничуть меня не успокоив, внушили мне страх за ближайшее будущее: это напоминало мне испарения, поднимающиеся утром с земли, которые поглощает солнце, золотя их своими лучами, преломляя их в своем свете, а час спустя возвращает нам в виде бури, дождя, града, грома и молнии.

Так что Вы, дорогой мой Петрус, можете понять, какой ужас я испытывал, с каждым словом неуклонно приближаясь ко второй части; эта вторая часть проповеди, подвергшаяся такому множеству последовательных исправлений, что я не помнил и первой ее строки, изобиловала столькими помарками и сносками, что я, по-видимому, не смог бы в ней разобраться, даже если бы прибегнул к тетради.

И действительно, я сразу же заметил, что неоднократные исправления, внесенные в первоначальный текст, ускользают из моей памяти, несмотря на ее тщетные усилия вернуть их; эти исправления я уподобил бы пугливым птицам, поднимающим крылья, и, как только я к ним приближался, улетающим и скрывающимся из виду.

Только первоначальный текст, если можно так сказать, стучался в двери моей памяти, текст, щедро живописующий ужасные пороки, что я приписывал добропорядочным людям и сам же ставил им это в вину.

Я хотел вспомнить исправленные фразы и забыть первоначальные; мой ум призывал к себе первые и пытался прогнать вторые; я чувствовал, что запутываюсь, и, рискуя собственной репутацией, решил прибегнуть к подсказке моей тетради.

Я схватил ее в какой-то злобной досаде и, видя, что больше не могу говорить по памяти, отказался от собственного опасного упрямства и попытался завершить проповедь, читая ее по тетради; однако проповедь оказалась погребенной под множеством исправлений, надстрочных вставок и сносок.

Эти спасительные страницы предстали моему взору как обширное кладбище с сухими терниями, с могильными ямами и с надгробными крестами.

Я пересек эти страницы, широко шагая, спотыкаясь, произнося то, чего уже сам не понимал.

Больше я не решался посмотреть на аудиторию, но, даже не глядя на нее, я своим умственным взором видел ее удивление, негодование и едва ли не ужас.

Наконец, я подошел к самому глгучему фрагменту, к наглядным примерам, то есть к картинам страшных мук, ожидающих грешников; я не жалел ярких красок, описывая огненные озера, поглощающие клятвопреступников, ледяные моря, уносящие в свои пучины себялюбцев, кипящую смолу, испепеляющую лицемеров, огромных змей, впивающихся острыми зубами в плоть сладострастников, – короче, я воспроизвел все те жуткие образы, которые Данте с его могучим воображением черпал в своей жажде чудовищного отмщения; однако, по мере того как нагромождались образы все более сильные и все более беспощадные, я, понимая необходимость ослабить действие подобной немислимой диатрибы, старался мягкими интонациями умерить силу моих угроз, так что голос мой становился все более нежным, все более ласковым и отеческим, и кончилось тем, что к самым нестерпимым пыткам ада я приобщил мою аудиторию таким же голосом, каким обещал бы ей несказанные улады рая.

На этом пассаже моей проповеди слушатели уже не довольствовались шепотом; некоторые женщины выходили из церкви, возводя к Небу глаза и руки и при этом громко говоря:

– Господи Боже мой, сжался над ним, ведь он сошел с ума!

Другие говорили иначе:

– Это же припадочный! У него бывают минуты просветления, но не гордиться же этим!

Ну а третьи, не самые неблагожелательные, откровенно хохотали. В конце концов этот смех оскорбил меня; я почувствовал, как кровь ударила мне в виски, а перед моими глазами возникло какое-то облако; я понял, что если из упрямства буду идти до самого финала проповеди, то могу потерять сознание...

Я прервал собственную пытку, более мучительную, чем те, что только что были описаны мною, неожиданно произнеся:

– Аминь!

Молитвы я прочел еще хуже, чем проповедь, если это только было возможно, и сошел с кафедры, пошатываясь, задыхаясь, не в силах преодолеть смятение; я прошел среди оставшихся прихожан, из упорства дослушавших мою проповедь до конца, прошел униженный, опустив голову и испытывая такой стыд, что на лбу у меня выступил пот.

Выйдя из дверей церкви, я прошел через деревню прямо к дороге на Ноттингем, даже не найдя в себе мужества зайти по дороге к почтенной г-же Снарт, чтобы поблагодарить ее и ее супруга за то гостеприимство, с каким они предоставили мне место за их столом и под их кровом.

Я возвратился домой в Ноттингем вне себя, весь покрытый пылью, истекая потом, если говорить о моем физическом самочувствии; в моральном же отношении я находился в состоянии безумия, отчаяния и был раздавлен бременем стыда и, можно сказать, угрызений совести!

VII. Великодушие господина ректора

Каким же достойным человеком был мой хозяин-медник! Другой стал бы восклицать: «Вот оно как!.. Ха-ха!.. Разве я вас не предупреждал?!..» А вот он, наоборот, избегал встречи со мной, так что я в течение двух-трех дней смог побыть наедине с собой и пережить свое унижение.

Через три дня он поднялся ко мне и, без единого намека на мое злосчастное путешествие в Ашборн и то, что там произошло, сказал:

– Дорогой мой господин Бемрод, вы как-то говорили мне о своем намерении найти нескольких учеников, желающих изучить то, что вы называете сложными языками, а я называю языками бесполезными; так я нашел желающих, вот их адреса.

И он протянул мне четыре или пять карточек с записанными на них фамилиями именитых жителей города.

В мое отсутствие добряк обошел дома своих заказчиков и не только разыскал для меня четверых-пятерых учеников, но и, зная мою злосчастную застенчивость, взял на себя заботу о моих интересах и сам назначил время уроков и определил плату за них, так что мне оставалось только постучать в нужные двери и приступить к занятиям.

Это-то и было мне нужно. Как только дело касалось греческого или латыни, Гомера или Вергилия, Аристотеля¹⁸¹ или Цицерона, я, оказавшись в родной стихии, чувствовал себя как рыба в воде.

Таким образом я заработал немного денег и через три месяца смог явиться к моему купцу и уплатить ему обещанную гинейю; но, отдав ее, я остался с двенадцатью шиллингами, а ведь, как легко было предвидеть, при прощании уже не я, а сам мой кредитор сказал: «До встречи через три месяца!»

Мой провал в Ашборне был таким глубоким, что я даже не пытался встать на ноги, взяв реванш в какой-нибудь ближней деревне и забыв о своем поражении благодаря какой-нибудь блестящей победе; зато я вернулся к замыслу сочинить великое произведение, способное сразу поправить и мою репутацию и мое благосостояние; но, поскольку я не смог найти подходящий сюжет ни для эпической поэмы, ни для трагедии, ни для драмы, я решил остановить свой выбор на объемистом трактате по сравнительной философии, который сочетал бы все этические идеи античных философов с духовными исканиями современных философов и сблизил бы Сократа,¹⁸² с блаженным Августином¹⁸³ Платона.¹⁸⁴ – со Спинозой, Аристотеля – с Лейбницем¹⁸⁵

¹⁸¹ Аристотель (384–322 до н. э.) – древнегреческий философ и ученый-энциклопедист; происходил из семьи врачей при дворе македонских царей; основатель формальной логики; разработал многие отрасли философии, в которой занимал промежуточное положение между идеализмом и материализмом.

¹⁸² Сократ (470–399 до н. э.) – древнегреческий философ, один из основоположников диалектики, считался идеалом мудреца; оклеветанный врагами, которые обвинили его в непочитании богов и развращении юношества, был осужден на смерть и в окружении своих учеников спокойно выпил предложенный ему яд.

¹⁸³ Святой Августин (в православной традиции – блаженный Августин; 354–430) – крупнейший христианский богослов и церковный деятель; епископ города Гиппон в Северной Африке; родоначальник христианской философии истории; развил учение о благодати и предопределении; в западной традиции считается одним из главных отцов церкви; основные его сочинения – «О граде Божьем», «О благодати», а также замечательная «Исповедь», глубоко и психологически тонко восстанавливающая становление личности.

¹⁸⁴ Платон (428/427–348/347 до н. э.) – величайший древнегреческий философ; уроженец Афин, ученик Сократа; развивал диалектику; создал стройное и глубокое философское идеалистическое учение, охватывающее чрезвычайно широкий круг теоретико-познавательных и общественных проблем (разработал учение об идеях и наметил схему основных ступеней бытия; создал утопическое учение об идеальном государстве; много занимался вопросами образования, воспитания и т. п.); оказал огромное влияние на последующее развитие мировой (в первую очередь европейской) философии. Сочинения Платона отличаются не только глубиной мысли и богатством проблематики, но и редкостным мастерством изложения.

Я собирался основательно приняться за этот труд, отдавая ему всю мою душевную энергию, поскольку уже не питал никакой надежды получить приход; я успел даже на первом белом листе тетради большими буквами написать заглавие задуманного произведения, когда, к великому моему изумлению, получил от ректора письмо с приглашением прийти к нему.

Признаюсь, что при чтении этого письма дрожь прошла по моему телу.

Чего мог хотеть от меня этот человек, столь грубо принявший меня во время моего первого визита? Уж не обнаружил ли он что-то предосудительное в моей жизни, в моих привычках и занятиях и не приглашает ли он меня для того, чтобы выразить мне порицание?

Ведь не мог же он не слышать о моей злосчастной проповеди в Ашборне; но то была моя беда, а не вина.

Впечатление, произведенное на меня этим роковым письмом, оказалось настолько сильным, что я решил избежать встречи с ректором, не обещавшей мне ничего хорошего, а для этого надо было не только сразу же уйти из Ноттингема и спрятаться в укромном месте, рискуя умереть от голода; к счастью, мой хозяин-медник, узнавший лакея ректора, вошел ко мне в комнату и успокоил меня.

Встревоженный посланием так же как я, медник спросил у посланца, как выглядел его хозяин, вручая ему только что доставленное им письмо, и тот ответил: «Как обычно, и даже скорее приветливым, чем сердитым».

Успев уже убедиться, что советы моего хозяина идут мне только на пользу, я на этот раз не колебался ни минуты.

Поскольку, по его мнению, мне следовало принять приглашение ректора и нанести этот визит сразу же, я облачился в свой праздничный наряд, почистил рукавом шляпу и отправился к дому достопочтенного человека, от которого зависела моя судьба, к дому, как я уже говорил, расположенному на другом конце города.

Так же как в первый раз, меня провели к ректору без промедления, однако, моя позиция была теперь более выигрышной, чем тогда, если предположить, что медник не ошибся в своих предвидениях.

На сей раз не я сам пришел беспокоить его превосходительство, наоборот, это его превосходительство беспокоило меня, ведь, если бы не его письмо, я в тот же день приступил бы к моему обширному исследованию по сравнительной философии. Уже не мне приходилось обращаться со своей просьбой; наоборот, мне надо было только ждать, когда обратятся ко мне; если бы мне сделали какой-то выговор, я ответил бы смело и даже гордо, поскольку совесть моя была спокойна, сердце – чисто, а поведение – безупречно.

Эти размышления привели меня к выводу, что, придя к ректору, я буду находиться в настолько же спокойном и твердом состоянии духа, насколько неуверенным и тревожным оно было в первый раз.

Ректор сидел за своим письменным столом все в том же домашнем халате из мольтона; голову его прикрывала та же камилавка из черного бархата; поза его была не менее величественной, чем во время моего предыдущего визита, но мне показалось, что взгляд его не столь суров, а улыбка – более благожелательна.

Одновременно жестом и словом он предложил мне подойти поближе.

Поклонившись, я повиновался.

– Добрый день, господин Уильям Бемрод, – обратился он ко мне.

Я еще раз поздоровался с ним.

¹⁸⁵ Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646–1715) – немецкий философ, математик, физик, юрист, историк, языковед; основатель и президент (с 1700 г.) Бранденбургского общества (позднее Берлинская Академия наук). Реальный мир, по его представлениям, состоит из бесчисленных психически деятельных субстанций – монад, находящихся между собой в отношении предустановленной гармонии («Монадология», 1714).

– Мне приятна поспешность, с какой вы откликнулись на мое приглашение... Не обладаете ли вы, помимо прочих ваших достоинств, даром предвидения и не догадались ли вы, что у меня есть для вас хорошая новость?

– Нет, господин ректор, – отвечал я, – но ваше приглашение для меня равнозначно приказу, и я счастлив, что вы изволили заметить поспешность, с какой я выполнил этот приказ.

– Превосходно! – чуть кивнув, откликнулся ректор. – Мне по душе подобный ответ.

Затем, повысив голос, чтобы придать больше значимости своим словам, он заявил:

– Господин Уильям Бемрод, после вашего первого визита ко мне вот уже три или три с половиной месяца я слежу за вами постоянно. Ваше терпение, ваше хорошее поведение и та пунктуальность, с какой вы, несмотря на скудость ваших средств, можно сказать почти нищету, выплачиваете долг, не являющийся, как мне известно, вашим личным, – все это заслуживает вознаграждения. В качестве такового предлагаю вам место священника в Ашборне, со вчерашнего дня вакантное в связи со смертью тамошнего пастора.

– О Боже мой, господин ректор, – воскликнул я, повинувшись непосредственному душевному порыву, – так этот бедный господин Снарт умер?.. Какое горе!

– Как?! Вы выигрываете от этой смерти, вы наследуете приход, стоящий девяносто фунтов стерлингов и, узнав одновременно об этом несчастье и о своем назначении, вы издаете возглас сострадания, а не крик радости?! Это воистину по-христиански, мой дорогой господин Уильям!

– Прошу у вас прощения, господин ректор, за то, что не выразил вам благодарность в первых же словах, но я знал бедного господина Снарта, я знаком с его супругой, доброй и достойной женщиной, и, хотя мне пришлось увидеть, как он болен, надеялся, что он еще поживет. Бог призвал его к себе – да исполнится воля Божья!

И я прошептал короткую молитву об упокоении души достопочтенного пастора.

Ректор посмотрел на меня не без удивления.

– Итак, господин Бемрод, – сказал он, – вы знаете, что я назначаю пасторов в вакантные приходы, но делаю это по рекомендации общин. У вас есть соперник: состязайтесь с ним, составьте свою испытательную проповедь, а он составит свою, и, хотя этот соперник – мой племянник, даю вам слово, дорогой господин Бемрод, что, если община попросит назначить пастором вас, я это сделаю.

– Господин ректор, – ответил я, – признаюсь, что вы доставили мне огромную радость; однако, несмотря на ваше благожелательное предложение, я готов уступить дорогу вашему досточтимому племяннику и при этом буду вам не менее признателен, чем если бы вы назначили меня пастором в Ашборне.

Перед подобным проявлением вашей воли, господин ректор, – добавил я, – отказ от предложенного вами состязания я считал бы оскорблением вашей беспристрастной благожелательности. Нельзя отрицать, – продолжал я уверенно, – что я прошел неплохую школу; нельзя отрицать, что у меня есть некоторые познания в богословии и философии и что я даже собрался приступить к написанию трактата по этой науке как раз в то время, когда вы, сударь, оказали мне честь, пригласив меня к себе; правда и то, что я не считаю себя полностью лишенным дара слова, хотя вплоть до нынешнего дня я проваливался в моих попытках выступать перед публикой, однако, приободренный, поддержанный и покровительствуемый вами, господин ректор, я, надеюсь, добьюсь успеха... и, если мне не удастся одержать победу над соперником, человеком, должно быть незаурядным, поскольку он ваш племянник, я, по крайней мере, уверен, что поражение мое будет почетным.

– Нет, нет, господин Бемрод! – воскликнул ректор. – Я слышал о вас как о большом знатоке древних языков, глубоко разбирающемся в философии и теологии, красноречивом,

словно Демосфен¹⁸⁶ и Цицерон, вместе взятые. Состязайтесь, мой дорогой господин Уильям Бемрод, состязайтесь с моим племянником; но я не скажу вам только: «Таково мое желание», а добавлю: «Такова моя воля».

На этих его словах я откланялся.

Как Вы могли сами убедиться, дорогой мой Петрус, я с самого начала этого разговора довольно быстро отвечал на различные вопросы ректора; мне даже показалось, что, составив себе представление обо мне по моему первому визиту, ректор слегка обеспокоился, заметив, как свободно я владею речью; от моего внимания не ускользнула насмешливая улыбочка, проступившая на его губах, когда он сравнивал меня с Демосфеном и Цицероном; но у этого достойного человека намерение быть мне полезным было весьма очевидным, ведь ему незачем было бы посылать за мной, не будь оно подлинным; я тщетно пытался увидеть выгоду, какую он получил бы, обманув меня, – так что я не стал задумываться над этой его обеспокоенностью, над этой его насмешливой улыбочкой и распрошлся с ним, выразив ему самую живую и, главное, самую искреннюю благодарность.

Я поспешил возвратиться к моему хозяину-меднику, ожидавшему меня в нетерпении.

– Ну как? – еще издали спросил он меня.

– А вот как! – ответил я. – Будущее, дорогой мой хозяин, от меня уже не зависит! Бедный господин Снарт умер, и ректор вызвал меня сообщить, что мне предлагают участвовать в состязании на освободившееся место пастора, а это тем более великодушно с его стороны, что у меня будет только один соперник, и этот соперник – его племянник.

– Его племянник?! Вот черт! – воскликнул медник, почесав ухо. – И в чем же вы будете состязаться?

– В проповеди. Он составит свою, а я свою... Это то, что называется испытательной проповедью. Община определит победителя, и победитель будет назначен пастором.

– Вот черт! Вот черт! – приговаривал медник и почесывал ухо все сильнее и сильнее. – Проповедь!.. И вас не пугает читать проповедь второй раз перед жителями Ашборна?

– Даже не знаю, как это происходит, дорогой мой хозяин; вчера я и вправду предпочел бы скорее умереть, чем подняться на кафедру, на которой я потерпел такое жестокое поражение... Но после встречи с ректором что-то мне говорит, будто меня ждет удача, и я безоговорочно верю этому тайному голосу в надежде, что исходит он от Всевышнего, а не от моей гордыни и моего тщеславия.

– Пусть так, – согласился медник, – но одно я вам советую, дорогой господин Бемрод, – не очень-то пренебрегайте вашими учениками; быть может, вы будете рады и счастливы найти их однажды снова...

– Напротив, – ответил я, улыбаясь, и моя уверенность, похоже, испугала медника. – Напротив, мне потребуется все мое время, чтобы подготовить испытательную проповедь; сегодня же вечером я письменно сообщу этим славным людям, что, к моему великому сожалению, незадолго до моего назначения пастором в Ашборн я вынужден прервать их обучение; завтра я возьмусь за работу, а в ближайшее воскресенье прочитаю мою испытательную проповедь.

– Так что решение принято, дорогой господин Бемрод?

– Бесповоротно, дорогой мой хозяин.

– В таком случае, – откликнулся добряк, – от души желаю, чтобы вам не пришлось раскаиваться...

И он удалился, покачивая головой, почесывая себе ухо сильнее обычного и бормоча:

¹⁸⁶ Демосфен (ок. 384–322 до н. э.) – политический деятель Древних Афин, вождь демократической партии и знаменитый оратор.

– Черт побери! Черт побери! Черт побери! Это великодушие господина ректора не кажется мне естественным...

Я же поднялся к себе, написал пять прощальных писем пяти моим ученикам и в тот же вечер взялся за работу над испытательной проповедью.

VIII. «Н.О.С.»

Видя, как мне не терпится приступить к работе над моей испытательной проповедью, Вы, дорогой мой Петрус, конечно же, должны догадаться, что в связи с ней мне пришла в голову одна из тех замечательных идей, какие овладевают творческим человеком и не дают ему покоя до тех пор, пока он с ними не разделается.

Идея эта, целиком и полностью отвечающая не только вкусу, но и, я бы даже сказал, моде того времени, сводилась к своего рода евангельской шараде, которая должна была продемонстрировать три великие добродетели Иисуса Христа.

Словом шарады являлся латинский слог «НОС»; он состоял из трех букв, представляющих собой начальные буквы трех слов, которые заключали в себе самую суть моей проповеди: *Humilitas, Obedientia, Castitas*.¹⁸⁷

Конечно же, величайший пример смирения, покорности и целомудрия был явлен нам Христом.

Смирения – поскольку он, сын бедного плотника, родился в яслях, служивших кормушкой для осла и быка.

Покорности – поскольку, в точности следуя велениям своего Небесного Отца, он, безропотный, спокойный, сострадающий, шел прямо к своей страшной, унижительной, позорной смерти, которой предстояло стать спасением мира.

Целомудрия – поскольку за все тридцать три года его земной жизни ни на его детское платье, ни на его мужской хитон не легло ни одно пятно грязи, порождаемой человеческими страстями.

Помимо этого, дорогой мой Петрус, нет нужды говорить Вам, что слово «нос» имеет еще одно значение: «здесь», «тут».

Так что в итоге суть моей проповеди можно было бы свести к такой фразе:
«Смирение, покорность, целомудрие – здесь спасение».

Не думаю, чтобы когда-либо проповедник располагал темой прекраснее этой, и я был готов во всеуслышание бросить вызов племяннику ректора в уверенности, что у него ничего подобного не будет!

Но, даже если суть проповеди была найдена, оставался еще вопрос ее формы.

Хотя, как уже было сказано, я в тот же вечер взял перо, оно еще долго бездействовало над листом бумаги.

И правда, в какую форму облечь столь великолепный замысел?

Я достаточно хорошо знал людей, чтобы понять: можно обрести власть над людьми или растрогав их, или удивив.

Эта власть возросла бы, а воздействие на души удвоилось, если бы я одновременно и растрогал и удивил прихожан.

Правда, при осуществлении моего замысла надо было обойти большой подводный камень, особенно если помнить о людях, которые могут отнестись ко мне с предубеждением.

Если бы я составил проповедь простую и вполне им доступную, они сказали бы себе: «Ну, и что же тут замечательного?! Любой из нас написал бы не хуже!»

Если бы я составил проповедь утонченную и витиеватую, они могли бы ничего в ней не понять.

По зрелом размышлении я пришел к такому выводу: простые по мысли части проповеди я изложу в высоком стиле, а мысли высокого полета изложу в словах простых и понятных.

Смею уверить, то был труд не только большой, но и сложный.

¹⁸⁷ Смирение, Покорность, Целомудрие (лат.)

Наконец, я приблизился к его окончанию.

В субботу утром я завершил проповедь и, как и обещал себе, был полностью готов к завтрашнему дню.

Тогда я попросил моего хозяина-медника подняться ко мне.

Мне хотелось прочесть ему мою проповедь, но я боялся, что в лавке его может отвлечь какой-нибудь покупатель.

Хозяин пришел по первому зову и, увидев мои оживленные глаза и радостное лицо, сказал:

– Ну-ну, дорогой господин Бемрод, похоже, вы закончили нашу проповедь?

– Да, хозяин, да, – ответил я, потирая руки.

– И вы ею довольны?

– Я в восторге от нее!

– Что ж, тем лучше, тем лучше, дорогой господин Бемрод!

– Но моего восторга еще недостаточно, надо, чтобы и вы были в восторге.

Хозяин засмеялся.

– Чтобы и я был в восторге? – повторил он. – Но что значит для такого человека, как вы, одобрение или неодобрение такого жалкого невежды, как я?

– Много значит, дорогой мой хозяин, ведь я уже не раз имел возможность убедиться в справедливости ваших суждений.

– Господин Бемрод, позвольте напомнить вам вами же рассказанную занятную историю об одном знаменитом древнегреческом художнике и бедном афинском башмачнике: «Башмачник, не суди выше башмака!»

– Пусть так, дорогой мой хозяин, – согласился я. – Оставайтесь в тех пределах, которыми вы сами решили ограничить свой ум, но в этих пределах дайте мне совет.

Медник кивнул, словно говоря: «Ну, если вы так уж этого желаете, я слушаю». И он сел на стул.

– Дорогой мой хозяин, – обратился я к нему, – в проповеди, которую вы сейчас услышите, есть две стороны: ее содержание и ее форма.

– Сначала объясните мне, дорогой господин Бемрод, что они собой представляют: мне не хотелось бы высказывать о них свое мнение, толком в них не разобравшись.

– Это не сложно, дорогой мой хозяин, и наглядности ради я приведу сравнение, почерпнутое из вашего же ремесла: содержание – это медь, из которой вы делаете кастрюли; форма – это очертания сосуда, который вы делаете из меди.

– Понятно, – откликнулся медник. – Теперь, господин Бемрод, можно начинать, я слушаю.

Я стал читать, объясняя ему мой текст и показывая все лежащие в его основе находки. Затем я постарался сделать все возможное, чтобы он оценил в проповеди искусственность и привлекательность ее формы.

Мой хозяин выслушал меня до конца, не проронив ни слова; правда, время от времени он почесывал себе ухо, а это означало, что его восхищение моей проповедью не являлось безоговорочным.

Когда я дочитал текст, он продолжал хранить молчание, но ухо чесал несколько сильнее.

– Итак? – спросил я его, не в силах сдержать нетерпение.

– Итак, господин Бемрод, – отозвался мой собеседник, – сейчас я выскажу вам мое мнение сначала о содержании вашей проповеди, о меди, из которой она сделана, не так ли?

– Да, мой дорогой друг, – согласился я с довольным видом, – с содержания и надо начинать, затем от сути вы перейдете к подробностям.

– Что касается содержания, – заявил он, – мне, безусловно, мешало его понять мое незнание латыни, но должен вам сказать, что я нахожу его немного мелким, даже пустяковым и, следовательно, недостойным величия и святости темы.

– Дорогой мой хозяин, – возразил я, – ничто не мало и ничто не велико; из самого незначительного могучий ум способен извлечь значительные суждения, точно так же как из самого значительного посредственный ум извлечет мысли слабые и пошлые... Посмотрим же, что я извлек из моей темы; вот что самое главное.

– Конечно же, дорогой господин Бемрод, вы извлекли из нее много замечательного; но все же позвольте мне по поводу формы привести сравнение, взятое из моего ремесла, как вы говорите...

– Пожалуйста, дорогой мой хозяин, пожалуйста, – отозвался я, в свою очередь улыбнувшись. – Мне действительно интересно услышать ваше сравнение.

– Вот оно. Вы знаете, господин Бемрод, что бывают кастрюли из меди и кастрюли из серебра?

– Да, дорогой мой хозяин, я это знаю, – подтвердил я, хотя мне чаще приходилось есть из первых, чем из вторых.

– Вы знаете также, что серебряные кастрюли золотят, а медь только лудят?

– Прекрасно знаю!

– Так вот, господин Бемрод, мне кажется, что вы поступили прямо противоположным образом: мне кажется, что в вашей проповеди вы лудили серебро и золотили медь.

– Это так, мой дорогой хозяин, это именно так! – обрадованно воскликнул я. – Вы угадали мою мысль... Ах, вы воистину здравомыслящий человек и редкостный советчик! Обнимите меня, мой дорогой хозяин, обнимите меня... Племянник ректора побежден, а я пастор деревни Ашборн!

Но он не развеселился и, покачав головой, предупредил меня:

– Берегитесь, господин Бемрод, берегитесь! Я заметил: все, что вы делали, доверяясь собственному сердцу, оказывалось замечательным, а все то, что вы делали, доверяясь своему уму, плохо кончалось... И я боюсь теперь одного – что вы сочинили эту проповедь, полагаясь больше на ваш разум, чем на ваше сердце...

Мне пришлось признаться себе, что в словах медника содержалась доля истины, но проповедь моя была уже закончена, мне она нравилась, и я решил прочесть ее, ничего в ней не меняя.

Так же как в первый раз, я мог пойти в Ашборн пешком; путь длиной в семь льё не мог утомить двадцатитрехлетнего молодого человека, но я был совершенно уверен в том, что получу место пастора и, не колеблясь, позволил себе роскошь и нанял одноколку.

К тому же пастор, добирающийся пешком, словно нищий или бродяга, выглядел бы в глазах моих будущих прихожан бедным, тогда как приехавшая из города одноколка выглядела бы отлично и служила бы знаком того, что соискатель – человек состоятельный.

А ведь, увы, каждому известно: люди имеют привычку отдавать предпочтение тому, кто не нуждается, – следовательно, если бы в Ашборне подумали, что я не нуждаюсь в приходе, мне несомненно предложили бы его.

Так что я велел привести ко мне прокатчика карет, и тот предоставил в мое распоряжение одноколку из ивовых прутьев и возницу, что обошлось мне в пять шиллингов.

За эту же сумму меня должны были привезти и обратно, если я возвращусь на следующий день, но если мое возвращение будет перенесено на понедельник, плата возрастет до семи шиллингов.

В одиннадцать утра мы тронулись в путь.

Мой хозяин-медник стоял у своей двери; он пожелал мне благополучного путешествия, но воздержался от пожелания удачи; чуть позже я увидел, как он в последний раз покачал головой и вошел в дом.

Упорная убежденность в своей правоте у человека, отличающегося большим здравомыслием, поколебала мою уверенность в достоинствах моей проповеди. Я извлек ее из кармана, велел кучеру ехать по краю дороги, чтобы по возможности избежать тряски, и стал перечитывать мой шедевр.

Должен сказать, чем дальше мы ехали и чем больше я углублялся в текст проповеди, тем больше я был вынужден признаться самому себе, что несколько поспешно позволил себе поддаться прихоти ума, способного привести меня к парадоксу; но, поскольку склонный к парадоксам ум, даже будучи бесспорно ложным, является, если умело им пользоваться, одним из самых блестящих умов и поскольку не оставалось сомнений, что и по содержанию и по форме моя проповедь сделана восхитительно, я продолжал уговаривать себя, что своим блеском она способна если не растрогать, то, по крайней мере, ослепить.

Через три часа пути я стал узнавать приметы, указывающие на близость деревни.

Время от времени по обочине дороги, между садами, словно часовые, стоящие на страже войска, навстречу мне выступали белые домики с зелеными ставнями; ближе к дороге располагались ослепительно яркие клумбы, источающие запах гвоздик, роз и жасмина; за клумбами начинался сад, на деревьях которого начали формироваться плоды, с тем чтобы в последующие месяцы приобрести золотистый цвет и созреть; перед дверьми этих домиков среди кур, прогуливающих своих цыплят, среди улегшихся в тенечке собак, среди кошек, жмурящихся на солнце, кувыркались хорошенькие бело-розовые и золотоволосые полуголые малыши. Вся эта картина радостной и плодоносящей природы открывала мое сердце для мягких и нежных чувств.

Проезжая мимо, я мысленно посылал свое благословение этим домикам, этим цветам, этим плодам, этим курам, этим собакам, этим кошкам, этим детям – всей этой одушевленной живой природе, после шести тысяч лет существования все еще свежей и юной, словно Творец только вчера выпустил ее из своих рук.

Я говорил себе:

«О Боже мой, ты единственный знаешь в этот час, а я узнаю вскоре вместе с тобою, сколько в этих убогих хижинах, словно расцветающих среди цветов, живет людей счастливых и сколько несчастных; я буду это знать так же, как ты, поскольку ты их Господь, а я стану их пастором, то есть посредником, которого Провидение поставило между ними и тобой, о мой Боже! Тогда я обещаю тебе, Господи, приложить все мои усилия, все мое рвение, весь мой ум, чтобы показать одним, каким образом можно заслужить счастье, а другим – как перенести страдание. Здесь, Бог мой, если твоя мудрость позволит, чтобы я был призван к этому святому делу, здесь я соединю руки с руками, а сердца с сердцами; здесь я буду принимать младенцев в ту минуту, когда они, голые, испускающие свой первый мучительный крик, вступят в жизнь; здесь я переведу этих младенцев от груди их матери во плоти к груди Церкви, их матери в духе; здесь я буду наставлять молодость и научу ее возносить хвалы тебе, о Боже! Здесь я закрою глаза старости и научу ее благословлять тебя как за добро, так и за зло, как за наслаждение, так и за муку!»

И, когда я говорил все это, такое необычайно сильное волнение сжало мое сердце, что слезы потекли из моих глаз, и я, простирая руки к Небу, выронил из них мою проповедь.

– Осторожно, сударь, – сказал мне кучер, – вы теряете вашу тетрадь. Эти слова вернули меня на землю, однако не до конца вывели меня из моего восторженного состояния. Я поднял проповедь и бросил взгляд на первые строки...

О дорогой мой Петрус! Каким-то образом я не дошел еще и до половины первой страницы, как сразу же согласился с мнением моего хозяина-медника!

Я чувствовал, что эти сладостные слезы, которые я проливал, постепенно, по мере того как я читал написанное мной, высыхали на моих глазах; я чувствовал, что этот восторг, от которого колотилось мое сердце, угасал в моей груди, по мере того как я просматривал мою проповедь.

Наконец, я увидел этот текст таким, каким он был на самом деле, – то есть просто игрой слов. Эта форма предстала мне в своем истинном виде, то есть фальшивой, напыщенной, убогой!

Я попытался продвинуться дальше, но это оказалось невозможным. Я спрашивал себя, как перед лицом такой богатой природы и расцветающей человеческой жизни можно было искать эффекты в сочетаниях слов или в играх воображения и остроумия.

Я покраснел от собственного тепличного красноречия, сравнив его с несколькими простыми, но зрелыми мыслями, которые внушило мне все то, что явилось перед моими глазами.

И мысленно я воскликнул:

«О вы, кто ждет от меня сердечного слова, успокойтесь, братья мои! Я не принесу вам духовного яда!

И когда завтра я предстану перед вами, мне следует сказать вам только такие слова:

«О братья мои, хвалите Господа и любите друг друга!»

Нет, я не стану произносить эту лживую и глупую проповедь, по справедливости вызвавшую презрение моего хозяина-медника, у которого скудные познания, зато богатая душа!»

Как раз в это время мы подъехали к окраине деревни и я, разорвав мою проповедь, выбросил ее клочки из одноколки, с удовольствием наблюдая, что ветер уносит их в забвение, как все то, что уносит ветер.

IX. Вдова

Одноколка остановилась перед дверью г-жи Снарт.

Услышав стук колес, моя бывшая покровительница появилась на пороге; она была одета во все черное, ее покрасневшие глаза и влажные борозды на щеках свидетельствовали о недавних слезах, подобно тому как промоины на поверхности земли говорят о пронесшемся по ней потоке.

И все же, хотя лицо ее было измучено, чувствовалось, что сердце ее спокойно, а сознание ясно. Она печально мне улыбнулась и приветствовала меня:

– Господин Бемрод, я ждала вас. Знаю, что вас сюда привело, и желаю, чтобы этот дом, где я принимала вас три месяца тому назад и принимаю сейчас, стал вашим.

Это пожелание было высказано с такой простотой и таким дружеским голосом, что в искренности г-жи Снарт не приходилось сомневаться.

Я подошел к ней и поблагодарил ее; затем, пока кучер вел лошадь в конюшню и ставил одноколку под навес, она сказала мне:

– Проходите, дорогой господин Бемрод; в первый раз, когда вы оказали нам любезность навестить нас, я была хозяйкой дома, а вы гостем; сегодня, когда у вас есть шансы занять место моего бедного мужа, вы у себя дома, а я здесь ваша служанка... Проходите, я покажу вам хозяйство во всех подробностях.

И она сразу же, шагая впереди, заставила меня пересечь двор, зайти в сад, спуститься в погреба, подняться на чердак и, приведя в ту самую комнату, где в первый мой приезд почтенный г-н Снарт лежал на кушетке в ожидании холодного могильного ложа, сказала мне:

– Вот ваше будущее жилище, ведь я надеюсь, что вас назначат в этот приход, дорогой господин Бемрод. Здесь я прожила двадцать пять счастливых лет с мужем, которого Господь на днях призвал к себе и к которому по милости своей он, надеюсь, вскоре позволит присоединиться и мне...

– Двадцать пять лет! – воскликнул я. – Да это целая жизнь... Как же это должно быть больно для вас – покинуть дом, в котором вы так долго жили!..

– Дорогой господин Бемрод, покинув его первым, человек, проживший здесь двадцать пять лет со мной вместе, тем самым и мне подал знак, что пора уходить. Уверена, что не сегодня, так завтра я присоединюсь к нему на Небесах, и какая мне разница, где я буду ждать этой встречи... А пока следуйте за мной, вам еще надо зайти в последнюю комнату.

Госпожа Снарт прошла вперед, как это делала до сих пор, и ввела меня в спальню.

– Вы молоды, – заявила она, – и находитесь в возрасте, когда пора обзавестись супругой. Она должна быть разумной, любящей и из близкого вам круга людей; возьмите ее в жены по любви, а не по расчету, – так же как господин Снарт взял замуж меня... и ваши двадцать пять лет радости и счастья пройдут так же, как прошли наши.

Я посмотрел на достойную женщину с удивлением, смешанным с уважением. Двадцать пять лет радости и счастья!

Никогда, ни в античные времена, ни в наши, я не видел человеческого существа, благодарящего своего Господа за двадцать пять лет счастья.

– Дорогая госпожа Снарт, – спросил я ее, – так вы были действительно счастливы все двадцать пять лет?.. В течение четверти века, то есть срока более длительного, чем тот, что я провел на земле, никакая печаль, никакие страдания, никакие слезы не омрачали ту радость и счастье, за которые вы только что благодарили Всевышнего?

Затем, повернувшись к этим стенам, оклеенным простыми обоями, я воскликнул:

– О благословенные стены! Сможете ли вы однажды дать приют мне одному, как ранее давали его двум супругам, и смогу ли я сказать через какое-то время, как сегодня говорит мне

эта вдова в трауре: «Спасибо, Господь мой, за двадцать пять лет безоблачного и безмятежного счастья, которыми ты одарил своего служителя!»

Госпожа Снарт улыбнулась и, печально покачав головой, заметила:

– Дорогой господин Бемрод, не оказались ли вы далеко от истины, подумав так, что этот длительный период моей жизни протекал, как вы выразились, безоблачно и безмятежно... Поскольку, по моему мнению, настоящее несчастье заключается в грехе и проступках, я говорю только о том, что Господь позволил нам прожить двадцать пять лет в душевной чистоте и ясности ума...

Безоблачное, безмятежное счастье! О нет, напротив, и я надеюсь, что мои страдания зачтутся мне!.. Нет!.. Здесь я многое претерпела, здесь я пролила много слез... и если сердце разрывается, то здесь, дорогой господин Бемрод, мое сердце действительно разрывалось, поскольку здесь не только вдова потеряла мужа, но еще и мать видела смерть своих детей!..

У меня было три дочери, дорогой сударь, три ангела на земле, три ангела на Небе, молодые, прекрасные, чистые! Капля росы, дрожащая поутру на кончике ивового листа, была не более прозрачной, чем их взгляд; голубое майское небо было чистым не больше, чем их сердца.

Однажды незнакомая женщина с больным ребенком на руках пришла на порог нашего дома попросить милостыню; младшая из моих дочерей положила монету в лихорадочно горячую руку ребенка; ребенок болел оспой, и смерть унесла не только младшую, но и двух наших старших дочерей... Поглядите-ка сюда... поглядите, господин Бемрод, на эти кольца, с которых свисали занавеси трех кроватей; так вот, здесь в течение пяти дней все было кончено... Я была матерью трех детей – через пять дней я уже не была матерью. Три холодных бесчувственных трупа один за другим остались мне вместо горячо любимых детей! Последней умерла старшая дочь: более крепкая, она боролась дольше... Ей только что исполнилось пятнадцать лет.

Умирая, она мне говорила: «Я уже вижу то, что на Небе, и еще вижу то, что на земле... Здесь, на земле, плачешь ты; а на Небе обе мои сестры сидят одесную Господа, и они подают мне знак, что рядом с ними есть место для меня... Будь спокойна, матушка, мы будем молить Всевышнего за тебя и за нашего отца, и мы увидимся на Небесах.

Человек всего лишь странник на земле!

Там, в горнем мире, наша настоящая отчизна».

И с этими словами моя бедная девочка испустила последний вздох, или, вернее, она уснула, ведь я весь день не хотела верить, что она умерла и сидела рядом с ней, говоря тем, кто приходил: «Ходите тише! Не шумите...» – таким спокойным и улыбчивым выглядело ее лицо! Она последней покинула эту комнату – так же как ранее это сделали две ее сестры... Поэтому об этой комнате... об этой комнате, выдавшей столько смертей и слышавшей столько рыданий, лишь об этой комнате изо всего дома я буду сожалеть!

– О дорогая госпожа Снарт, – негромко прошептал я, – да поможет мне Бог, и я обещаю, что вам не придется о ней сожалеть!

– Да, – продолжала она, не слушая меня, – да, я буду о ней сожалеть: ведь здесь, в этой комнате, не только стояли у стены три их кровати, белоснежные, словно вуали девственниц, но, помимо этого, через окно этой комнаты я вижу деревья, посаженные отцом в день рождения каждой из них... Увы, бедный отец! Сажая их, он никак не думал о том, что плакучие ивы – это кладбищенские деревья, украшения могил!

И правда, какой отец или какая мать, целуя свое новорожденное дитя, может подумать, что однажды этот младенец умрет?... О, так оно и случилось, так и случилось, господин Бемрод! Я много страдала, – продолжала несчастная вдова, заливаясь слезами, – ведь я перестрадала всем тем, что может выпасть на долю жены и матери! Теперь я одна на всем белом свете; Бог возьмет и меня в свой черед: я жду его решения...

И возведя к Небу взгляд, полный веры и смирения, она вновь умолкла, и только слезы, такие же тихие, как она сама, медленно текли по ее щекам.

Не сознавая того, что мне приходится сейчас испытывать, я почувствовал, как дрогнули мои колени и, благоговая, оказался у ног этой новой скорбящей матери.¹⁸⁸

Я взял руку вдовы и поцеловал ее.

– Нет, – сказал я несчастной, – нет, в мире вы не одиноки! Нет, не всех своих детей вы потеряли, ведь у вас остается сын, сын, который будет вас, дорогая матушка, любить и почитать, как если бы он явился на свет из вашего чрева и был вскормлен вашим молоком!.. Нет, нет, вы не покинете эту комнату! Господь меня вдохновит, Господь одарит меня красноречием, Господь приведет меня к победе – хотя бы только за ваши заслуги, матушка, хотя бы ради того, чтобы вы в свой черед могли навек закрыть глаза в этой комнате, где умерли все те, кого вы любили... Нет, вы не покинете эту комнату; каждый вечер вы будете произносить свою печальную молитву на том месте, где стояли три кровати, и, просыпаясь утром, вы еще не раз будете видеть за окном эти три ивы, деревья радости, ставшие деревьями скорби...

Матушка, будь этот дом моим или будь этот дом вашим, я в любом случае всего лишь ваш гость, как в тот вечер, когда, еще не ведая, что в этом доме обретаются добродетели, заслуги и страдания, я пришел к вам просить для себя гостеприимства.

Вот только, если и меня когда-нибудь постигнет беда, если и я почувствую, что слабеет мое сердце, если Бог покинет меня, позвольте мне, матушка, прийти в эту комнату и попросить вас, чтобы вы научили меня переносить страдания так, как переносили их вы!

Она взглянула на меня удивленно, не решаясь поверить тому, что я ей сказал; затем, поднимая меня с колен, не в силах произнести ни единого слова, она, плача, обняла меня за шею. Рывания вернули ей дар речи.

– О сын мой, сын мой! – воскликнула она. – Тысячекратно будь благословен! Ты искал мать, как я искала ребенка, и Господь толкнул нас в объятия друг к другу; Господь делает во благо все, что бы он ни делал... Сын мой, я тебя больше не покину. Я здесь остаюсь, а впрочем, если понадобится, последую за тобой, ведь, дитя мое дорогое, не надо обольщаться призрачными надеждами: борьба будет жестокой.

– О, будьте спокойны, матушка; как я уже сказал вам, Бог пошлет мне вдохновение.

– Да, полагайтесь на Бога, но не слишком рассчитывайте на себя... Вспомните ваш первый приезд в эту деревню...

– Я был гордецом и безумцем: Господь меня покарал, к тому же, как вам это известно, я теперь приехал, имея поддержку ректора.

– Образумьтесь, как раз напротив! – живо возразила почтенная женщина. – Вы сюда явились, вы... потому что его племянник, человек небольших достоинств, домогался этого прихода. Ректор не решился дать его племяннику без всяких околнностей из боязни быть обвиненным в кумовстве... Он послал вас прочесть здесь вашу испытательную проповедь лишь для того, чтобы не посылать другого, который мог бы одержать победу над его племянником, а это несложно, если принять во внимание невежество этого человека... в то время как вы...

Она остановилась и покраснела.

– Договаривайте, матушка, – попросил я ее с улыбкой. Затем, поскольку она продолжала хранить молчание, добавил:

– Говорите же, матушка... Вы не хотите... Я-то полагал, что мать ничего не станет утаивать от своего ребенка; я ошибся: моя матушка колеблется, поскольку ее ребенок гордец... Что ж, дорогая матушка, чтобы наказать себя, я сейчас вам помогу... в то время как у меня заслуг еще меньше, чем у этого племянника, не правда ли?..

– Он так полагал – и ошибся.

– И вы смогли в это поверить, вы первая, любимая моя матушка.

¹⁸⁸ «Скорбящая мать» – это перевод латинского термина «Mater Dolorosa», употребляемый католической церковью как название изображения Богоматери, пребывающей в горе из-за страданий ее сына Иисуса.

– О, он ошибся... ошиблась и я... Ошибались мы все, и тому была причина, бедное мое дитя, – добавила вполголоса и очень мягко г-жа Снарт, – ведь проповедь, которую вы прочли...

– ... оказалась отвратительной, не правда ли?.. Но не бойтесь, на этот раз она будет иной...

– И что вы будете завтра проповедовать, дорогое мое дитя?

– Еще не знаю, матушка.

– Как, ваша проповедь еще не написана?

– Она была написана... Я разорвал ее при въезде в деревню.

– Но почему?

– Потому что она была, возможно, еще хуже первой.

– Много же вы осознали, прежде чем в этом признаться. – Отныне я так буду смотреть на все мои проповеди, матушка, ведь если раньше при сочинении их главенствовал разум, ложность которого я начинаю понимать, то теперь судить их будет мое сердце, в котором, надеюсь, есть добро и справедливость.

– Что ж, – сказала вдова, – идите в вашу комнату; ведь именно там в течение двадцати пяти лет почтенный пастор сочинял свои проповеди.

Быть может, это не были образцы красноречия, но зато это были призывы к состраданию, к милосердию, к братству, примеры которых он приводил.

Простые и добрые деревенские жители любили его, находя его таким же простым и добрым, как они сами. Не тщитесь написать лучше, чем он: написать столь же хорошо будет достаточно для вашего счастья и вашего спасения.

– О, успокойтесь, дорогая моя матушка, – сказал я ей. – Начиная с этого дня, поскольку я буду равняться только на вашу доброту, я тем самым окажусь под покровительством тех, кто любил вас; они меня вдохновят, и все будет хорошо.

Я снова пожал ей руку и направился в мою комнату; но напрасно я пытался обдумать мою проповедь – это оказалось невозможным. Я мог только перебирать в памяти все то, что сказала мне эта чудесная женщина, и восхищаться теми образцами сострадания, мужества и смирения, какие порою Всевышний таит в каком-нибудь забытом уголке земли.

Наступило время ужина; г-жа Снарт сама приготовила его для меня: после смерти мужа она отказалась от служанки.

Подав на стол, она позвала меня.

Я, дорогой мой Петрус, обладал отменным аппетитом, аппетитом двадцатитрехлетнего человека, и более того – сердце мое было умиротворено и не омрачено заботой о завтрашнем дне, ведь на этот раз я чувствовал, что Господь со мной, и ничуть в том не сомневался.

Бедная же моя матушка, напротив, ела с трудом и выпила только стакан воды. Когда она увидела, как я сажусь за стол на место, некогда занимаемое ее супругом, из ее глаз выкатились две крупных слезы; она их вытерла, но в сердце ее слезы остались.

– Ну, как ваша проповедь? – спросила она меня в конце ужина.

– Я еще не мог ее обдумать, добрая моя матушка, но вы видите сами, как я спокоен... У Бога есть свои виды на меня, благодаря не моим, а вашим заслугам.

– Да будет так! – откликнулась она с улыбкой и, передавая мне лампу, добавила:

– Идите поработайте ради меня, а я за вас помолюсь.

И она одна, без лампы, вошла в ту комнату, где скончались три ее дочери и муж; ведь несомненно в темноте ей казалось, что она видит смутные зыбкие фигуры немых обитателей царства мертвых.

Х. Человек всего лишь странник на земле

Я вошел в мою комнату.

Она была той самой, что я занимал в первый мой приезд, но сколько же с той поры произошло перемен во мне и вокруг меня!

Я начал применять к себе «Γνωσι σεαυτου»,¹⁸⁹ Сократа¹⁹⁰ и вскоре это изучение привело меня к сомнению в самом себе и вере в Бога.

Поставив на стол лампу, я опустил на стул и задумался.

Задумался я о целом ряде моих разочарований, о моих попытках написать эпическую поэму, трагедию, философский трактат, о моей гордыне, подобно Иакову¹⁹¹ трижды поверженной наземь ангелом, и взамен этой борьбы, длившейся во время долгой ночи моего разума и начавшей слабеть на заре моей веры, я мысленно видел спокойное и мирное существование того человека, чью комнату я занимал, того пастора, который в простоте своего труда и своей жизни никогда не ведал провалов, который на протяжении двадцати пяти лет давал своим прихожанам примеры сострадания, милосердия и братства и который с полными руками не прекрасных книг, а добрых дел только что вознесся ко Всевышнему.

Я говорил себе, что моя гордыня, демон, которого мне предстояло сразить в первую очередь, вплоть до этой минуты туманил мой разум, убеждая, что мой гений призван прогреметь по всему свету, в то время как, напротив, только с этого благословенного вечера мне представилось, что жизнь спокойная, тихая, мирная, протекающая под крылом семейного ангела-хранителя, и есть то истинное существование, которое предназначено мне судьбой.

И при этой мысли жить и умереть безвестным в таком уголке земли, мысли, еще три дня тому назад приводившей меня в отчаяние, я почувствовал, как нечто утешительное, животворящее растекается по моим жилам, незаметно проникая в самое сердце.

Случайно передо мной оказалось зеркало; мой взгляд упал на него, и мне показалось, что глаза у меня вдохновенные, лоб светлый, а губы улыбочивые.

Думаю, дело здесь в том, что впервые в жизни я был безоговорочно счастлив и, не испытывая ни сожалений, ни желаний, тем не менее был полон надежд.

Не знаю, как долго пребывал я в этом состоянии безмятежности и восторга; я был вырван из него колокольным звоном с церкви, к которой примыкал пасторский дом: прозвонило девять вечера.

Я открыл окно.

Стояла восхитительная ночь, прекрасная июньская ночь, смягчаемая тихими ветерками.

Окно мое выходило в пасторский сад, за которым простирались другие сады, дальше тянулись поля, и их горизонт ограничивался небольшой цепью холмов.

Все, что мог объять мой взгляд посреди прозрачных ночных теней, являло собою самый совершенный образ безгрешности и покоя.

¹⁸⁹ Познай себя (гр.)

¹⁹⁰ Как утверждали древние, фраза «Познай самого себя» принадлежит Фалесу Милетскому (ок. 625 – ок. 547 до н. э.) – зачинателю греческой философии, одному из т. н. «семи мудрецов», древнейших греческих полубогородных мыслителей (традиция донесла до нас разные списки их, и имя Фалеса присутствует во всех). Согласно диалогу Платона «Протагор», эту фразу высказали вместе все семь мудрецов и начертали ее в храме Аполлона в Дельфах (священный город в Средней Греции, где находился самый известный и самый посещаемый храм Аполлона). В «Протагоре» это сообщает главный герой данного диалога и вообще всех писаний Платона, его учитель Сократ. Если верить Платону, ибо сам Сократ принципиально ничего не писал, предпочитая устное поучение в форме дискуссии, для Сократа указанное выражение есть основной принцип его учения, отличного от философии его предшественников, которых позднейшие историки философии называли досократиками: цель познания – не Вселенная, не природа, но человек.

¹⁹¹ Иаков – библейский патриарх, родоначальник двенадцати колен Израиля; здесь имеется в виду эпизод из Библии: Иаков целую ночь боролся с Богом, принявшим облик ангела, и, победив, получил благословение Божье (Бытие, 32: 24–32). Однако в синодальном переводе Библии ничего не говорится о том, что во время этой борьбы Бог повергал Иакова на землю.

Только три огонька светились в этом кругу, жалкое подобие всех тех пылающих огней, которыми была усеяна безграничная небесная синева.

Пристальный и вдумчивый, взгляд мой долго покоился на этом сонме звезд, через которые пролегал Млечный Путь, подобный потоку, подобный лавине, подобный водопаду миров!

Потом, подавленный величием представшего предо мной зрелища, чувствуя себя неспособным следовать за передвижениями, присущими или предначертанными для этих светил, этих планет, этих звезд, этих спутников, пути которых вычислили Коперник,¹⁹² Галилей,¹⁹³ и Ньютон¹⁹⁴ эти три великих исследователя небесной тверди, – я опустил взгляд мой на землю, не устыдившись собственной душевной слабости, поскольку помнил слова Паскаля:¹⁹⁵ «Вечное молчание этих беспредельных пространств устрашает меня!», и я теперь не боялся быть смиренным вместе с изобретателем арифметического треугольника,¹⁹⁶ автором «Писем к провинциалу»¹⁹⁷ и «Мыслей»¹⁹⁸

За те несколько мгновений, пока я безотрывно смотрел на факелы неба, огни на земле погасли и все снова погрузилось во тьму.

В этот миг на вершине одного из небольших покрытых зарослями холмов, что замыкали горизонт, появился слабый белесый свет.

Глаза мои остановились на этой своего рода ночной заре.

То была восходящая луна – медлительная, величественная, великолепно; ее чуть неправильной формы шар, появившийся за гребнем холма, источал, подобно нимбу, яркое сияние, которое, удаляясь от центра, слабело и превращалось в мягкий и спокойный серебристый свет.

По мере того как невозмутимая царица ночи восходила все выше в поднебесье, этот свет падал на равнину, заставляя ручьи поблескивать подобно муаровым лентам, а озера – сверкать подобно серебряным зеркалам; тень мало-помалу отступала перед лунным сиянием, постепенно захватывавшим все, что находилось в моем кругозоре, подобно приливу, который, двигаясь от горизонта, захватывает все побережье, – так растущая в размерах луна, победительная и неотразимая, поднималась до вершин самых высоких скал.

¹⁹² Коперник, Николай (1473–1543) – польский астроном, выдающийся деятель эпохи Возрождения, создатель гелиоцентрической системы мира; в 1491–1494 гг. учился в Краковском, Болонском и Падуанском университетах, где изучал астрономию, право, медицину; с 1497 г. каноник Вармийской епархии (в Северо-Западной Польше); в 1520–1521 гг. участвовал в войне с Тевтонским орденом, был одним из руководителей обороны города Фромборка и докладчиком на сейме, созванном после заключения перемирия.

¹⁹³ Галилей, Галилео (1564–1642) – итальянский математик, физик и астроном, один из основателей точного естествознания; заложил основы современной механики, построил первый телескоп и сделал много открытий в астрономии; несмотря на преследования, отстаивал гелиоцентрическую систему мира.

¹⁹⁴ Ньютон, Исаак (1642–1727) – английский физик, механик, астроном и математик; сформулировал основные законы классической механики, открыл закон всемирного тяготения, заложил основы дифференциального и интегрального исчисления, сделал также много других открытий. Материалистические научные воззрения Ньютона сочетались у него с глубокой религиозностью; он последовательно выступал в защиту религии и англиканской церкви, занимался поисками доказательства бытия Божьего, написал много богословских сочинений, о которых иногда и сам отзывался как о мистических мечтаниях (большинство их не было опубликовано).

¹⁹⁵ Паскаль, Блез (1623–1662) – французский религиозный писатель, выдающийся математик и физик; с 1654 г. вел полу-монашеский образ жизни. Приведенная цитата содержится в «Мыслях» Паскаля.

¹⁹⁶ «Арифметический треугольник» – изобретенная Паскалем и носящая его имя таблица для быстрого и простого подсчета коэффициентов степеней бинома. Свой метод Паскаль изложил в работе «Трактат об арифметическом треугольнике» («Traite du triangle arithmetique»).

¹⁹⁷ «Письма к провинциалу» («Lettres provinciales», 1656–1657) – шедевр французской сатирической прозы, в котором Паскаль бичует лицемерие и казуистику иезуитов, за что это сочинение подверглось церковному осуждению. «Письма» имели большое значение для дальнейшего развития французской литературы и театра.

¹⁹⁸ «Мысли» («Les Pensees») – труд, в котором Паскаль изложил свои философские воззрения; издан посмертно в 1669 г.; в нем автор развивает представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между безднами – бесконечностью и ничтожеством; путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния он усматривает в христианстве. Это сочинение сыграло значительную роль в формировании французской классической прозы.

Вдруг в ту минуту, когда лунный свет объял весь пасторский сад и коснулся подоконника, на который я облокотился, от берега пруда донеслось мелодичное пение, и посреди этой ночи, обретающей прозрачность, словно на заре, я заметил крылатого певца, чей единственный голос приветствовал возвращение бледного светила и торжественно-молчаливую безмятежность ночи.

То был соловей, усевшийся на самой высокой ветке самой высокой из трех ив, или же, если Вы согласитесь со мной, дорогой мой Петрус, то была душа девушки, которая с верхушки этой ивы, посаженной в тот самый день, когда ее остывшее тело было предано земле, пришла среди лунных теней, чтобы своей нежной песнью поприветствовать свою безутешную мать от имени своих сестер, своего отца и самого Бога?

О прекрасная, тихая, безмятежная ночь! Как отличалась она от ночи, проведенной мною в той же самой комнате тремя месяцами ранее, когда, склонившись над моей первой проповедью, чувствуя, как лихорадочно колотится мое сердце и пот струится по моему лбу, я боролся с демоном гордыни, ныне побежденным и лежащим в цепях у моих ног.

Ведь бывают часы, которые протекают как бы вне времени, когда не понимаешь даже, прожил ли ты их, по крайней мере жизнью земной.

Всю ночь блистала луна; всю ночь распевал соловей; всю ночь я смотрел и слушал.

Наконец я заметил, как в положенное время появилась самая яркая из звезд – та, которую поэты посчитали дочерью Юпитера и Авроры:¹⁹⁹ они дали ей имя Венера,²⁰⁰ а наши современные астрономы называли ее Люцифером,²⁰¹ поскольку за несколько часов до восхода солнца она быстро поднимается в небеса, неся по пути сияющий факел утра.

Соловей смолк; луна побледнела; я закрыл окно и лег спать.

Проснулся я в тот же самый час, что и в первый мой приезд, но вместо жуткого кошмара, душившего меня в тот раз, ко мне явились два приятных сна, вышедшие из той двери из слоновой кости, что открывается вечером для призрачных и обманчивых видений.²⁰²

Почти в то же самое время ко мне постучалась моя добрая матушка и сказала, что через четверть часа прозвонит колокол.

Я встал, оделся, попытался в последний раз свести воедино мои мысли относительно проповеди – и не смог!

Мое сознание переполняли образы и звуки, виденные и слышанные мною накануне! Я видел только эту вдову, всю в черном, эти три огонька, угасающие один за другим на земле, эти мириады миров, пылающих и сверкающих в ночном небе, эту луну, прогоняющую тьму, и эту утреннюю звезду, в свою очередь прогоняющую луну и возвещающую начало дня.

Я слышал только эту полную отчаяния мать, оплакивающую потерю дочерей, подобно Рахили в Раме,²⁰³ и этого сладкоголосого соловья, что, утешая несчастную, пел всю ночь, усевшись на самую высокую ветку этой ивы, косы которой погрузились в темную воду пруда.

¹⁹⁹ Аврора (лат. «утренний ветерок») – в римской мифологии богиня утренней зари, соответствующая древнегреческой Эос.

²⁰⁰ Венера – в древнеримской мифологии первоначально богиня садов, позднее была отождествлена с греческой богиней любви и красоты Афродитой. Ее имя носит вторая от Солнца и самая близкая к Земле планета, которая известна с глубокой древности.

²⁰¹ Люцифер – устаревшее название «Утренней звезды», то есть планеты Венеры в часы ее видимости перед восходом Солнца.

²⁰² По представлениям древних греков, те сны, что сбываются, проходят сквозь ворота из рога, а те, что не сбываются, – через ворота из слоновой кости. Ср. со стихами Вергилия: Двое ворот открыты для снов: одни – роговые, в них вылетают легко правдивые только виденья; Белые створы других изукрашены костью слоновой. Маны, однако, из них только лживые сны высылают. («Энеида», VI, 893–896; пер. С.Ошерова под ред. Ф.Петровского.)

²⁰³ Точный текст этого фрагмента из Ветхого завета: «Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иеремия, 31: 15). Евангелист Матфей видит в этом пророчестве Иеремии предсказание избития младенцев царем Иродом: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет

Прозвонили час дня; церковь заполнила толпа, быть может еще более многочисленная, чем в первый раз, когда я читал здесь проповедь.

Я прошел сквозь толпу без всякого позёрства, не опуская и не поднимая глаз, сохраняя совершенное спокойствие ума и душевное равновесие.

Так же как в первый приезд, я вошел в ризницу, на этот раз вовсе не для того, чтобы исправить плохую проповедь, а для того, чтобы сотворить благую молитву.

Я стал на колени, а затем, смиренно сложив свое сердце к стопам Всевышнего, возвратился в церковь и поднялся на кафедру, еще не имея понятия, о чем буду говорить, но уверенный в том, что Господь, к которому я обратился с такой верой, не покинет меня в час, когда решается моя судьба.

Пока звучали духовные песнопения, я огляделся и справа от меня, в боковом приделе, увидел почтенную вдову пастора Снарта, стоявшую на коленях; взгляд ее застыл на стене, на которой были подвешены три веночка из бессмертников, а посреди каждого из них был помещен инициал.

Я догадался, что это три венка посвящались памяти трех девушек и что эти инициалы были начальными буквами их имен.

Тогда я мысленно призвал этих трех ангелов чистоты, чтобы они вдохновили меня и поддержали в эту минуту.

И правда, Небо словно услышало мою молитву, и я вспомнил последние слова старшей из трех девушек: «Человек всего лишь странник на земле» – и решил взять их за основу моей проповеди.

Можно ли найти тему прекраснее, тему удачнее, чтобы обратиться к сердцам всех!

Чем многочисленнее бывает любое собрание людей, тем сильнее кажется одиночество каждого из них!

Так что подлинное вдохновение пришло ко мне из могилы.

Я обернулся к трем веночкам, чтобы приветствовать их, и увидел, что наша достойная мать смотрит на меня, и лицо ее полно тоски, а глаза полны слез.

Я улыбнулся ей и жестом попросил ее успокоиться.

Затем, поскольку песнопение в эту минуту умолкло, я повернулся к моим будущим прихожанам и голосом одновременно ласковым и спокойным, мягким и твердым назвал тему предстоящей проповеди.

При этом я услышал, как по рядам прошел благожелательный шепот.

Я начал.

Вы не представляете, дорогой мой Петрус, с какой ясностью возникали мысли в моем уме, а слова – на устах.

Я не испытывал никакого страха, никакого беспокойства, никаких колебаний.

При первых же моих словах слушатели удивленно переглянулись, словно спрашивая друг друга, да тот же ли самый человек три месяца тому назад произнес перед ними речь путаную, туманную, неразумную, Вам уже известную?..

Я стал говорить о человеке, начав со времени его рождения, и сравнил его с деревом, покрытым в молодости зеленой листвой; в течение всех его лет листва опадает и ежегодно возрождается, но через определенное время отрастает уже не такой свежей, не такой жизнеспособной, не такой обильной, и наконец оно, старое и безлиственное, иссушенное и одинокое, простирает над этой землей, недолго покрываемой его тенью, лишь свой шершавый ствол и голые ветки.

Я говорил не только о человеке, проходящем, словно видение, но и о поколениях, сменяющих друг друга, словно тени, похожих на бесконечное шествие, в котором каждый живет

лишь миг, но все в целом вечны; я говорил, как человек нагим и слабым возникает из праха, поселяется на минуту на земле, стремясь к Небесам, а после сорока, пятидесяти, шестидесяти лет, что составляет по меркам вечности час, минуту, секунду, возвращает свою слабую и нагую плоть земле, из которой он возник, в то время как душа его поднимается к Небесам, то есть к божественному жилищу, откуда она пришла и где, чуждую земле, ее ждет высшее вознаграждение, получаемое из рук высшей доброты.

Я говорил о том, как по мере продвижения человека по жизни он теряет все, что любил: сначала отца, давшего ему жизнь, затем вскормившую его мать. Далее дети, которых он произвел на свет и вырастил, в свою очередь покидают его, но не для смерти, а ради жизни: сын для того, чтобы в другом городе, в другом краю, на другом конце света найти средства, необходимые для существования его самого, для существования его жены, для существования его детей; дочь – для того, чтобы следовать за мужем, куда бы тот ни направился. Я говорил о том, как по мере приближения к могиле, человек на всех поворотах своего жизненного пути теряет брата, родственника, друга, так что если бы ему пришлось когда-нибудь вновь пройти этот путь скорбей и слез, он смог бы повторить его шаг за шагом, сверяя его по могилам, которые, подобно мильным столбам, встречал бы вдоль всей дороги по обеим ее сторонам.

Затем, наконец, повернувшись к доброй моей матушке, проливавшей, слушая меня, слезы умиления и радости, я, показывая на три веночка, перед которыми стояла на коленях эта женщина, перестрадавшая трижды то, что перестрадала Матерь Божья, воскликнул:

– Да, да, человек – странник на этой земле; он появляется на свет, он вырастает, он терпит муки, он плачет, он проходит... и лишь несколько засохших цветков, первая буква его имени, борозда, которую он пролагает, которую орошает своими слезами и которая закрывается за ним в бездне прошлого, как исчезает след корабля в бездне Океана, – вот что оставляет человек за собой, после себя!.. Но утешьтесь же вы – те, кто оплакивает мать, отца, супруга, ребенка, утешьтесь!

Странники на этой земле, те, что ушли от вас, покинули вас только на время, и они будут ждать вас на Небесах, в той отчизне, где однажды вы к ним присоединитесь в блаженной вечности и бесконечном сиянии!

Не могу Вам передать, дорогой мой Петрус, до какой степени умиления я довел своих слушателей! Когда я дошел до этого места, в толпе не нашлось ни одного, кто начиная с меня самого не заливался бы слезами; вспоминая о моем достойном отце и моей почтенной матушке, я плакал обильными слезами.

Думаю, Вам известно: самые лучшие друзья, самые верные друзья – это те, что плакали вместе.

Когда я сходил с кафедры, ко мне потянулось множество людей с распростертыми объятиями; меня, как триумфатора, понесли к ризнице; старики (уже утратившие больше других в этом мире, а потому лучше всех меня понявшие) обнимали меня, прижимали к груди и с воодушевлением кричали:

– О, вы будете нашим пастором; мы не хотим никого другого, кроме вас; мы попросим вас у господина ректора и даже если всем нам придется пойти в город, чтобы высказать ему эту просьбу, мы добьемся его согласия.

В первые минуты можно было предположить, что в таком ходатайстве не было необходимости, поскольку, по словам одного прихожанина, он заметил ректора, слушавшего мою проповедь в одном из самых дальних и темных уголков церкви, куда, без сомнения, он пришел, движимый добротой своей души, чтобы присутствовать при моем триумфе.

Но искали его тщетно: он исчез.

XI. Бог располагает

Добрая моя матушка ждала меня у двери ризницы.

В сопровождении едва ли не всей деревни мы вместе вернулись в пасторский дом.

Здесь старики со мной попрощались, с тем чтобы пойти составить прошение к господину ректору.

Когда мы с матушкой вошли в дом, я с удивлением увидел, что все шкафы там открыты, а ящики выдвинуты.

Я спросил у г-жи Снарт, что это значит.

– Сын мой, – ответила мне она, – вы приняли меня в качестве вашей матери, так что вполне естественно, если я вас усыновлю.

Прежде чем узнать, бедна я или богата, вы мне сказали:

«Вы сохраните за собой эту комнату, где вы были счастливой и несчастной, где вы улыбались и плакали, где вы были супругой и вдовой, где вы стали матерью и где умерли ваши дети».

Я приняла ваше предложение; примите же в свою очередь то, что предложу вам я, а именно: дом в его нынешнем состоянии со всей его мебелью, бельем и столовым серебром.

При моей жизни все будет принадлежать нам обоим; когда же я умру, все будет принадлежать вам одному.

Я хотел сделать протестующий жест, но она меня остановила:

– Не говорите только, что я совершаю неверный шаг по отношению к тем, кто рассчитывает на то немногое, чем я владею.

Прежде всего, у меня есть только дальние родственники, не имеющие никакого подлинного права на мое маленькое состояние; это маленькое состояние, дар вдовы, обол матери,²⁰⁴ принадлежит вам, и уже сегодня, если вы только не хотите глубоко меня огорчить, мы пойдем к уэрксуэртскому нотариусу²⁰⁵ и я составлю дарственную на ваше имя.

Со слезами на глазах я поблагодарил это доброе создание и я сказал ей, что от всего сердца принимаю все предложенное ею, но умолил ее, чтобы мне в глазах будущих моих прихожан не выглядеть алчным и подозрительным, отложить на более поздний срок составление дарственной.

После моего сегодняшнего успеха, после обещания сельских жителей обратиться к господину ректору нельзя было откладывать ее решение надолго; самое позднее через две недели я сюда возвращусь и тогда будет еще не поздно составить дарственную, за которую я заранее поблагодарил ее.

Но я не мог отказать ей в просьбе осмотреть вместе с нею скромные домашние сокровища, собранные за двадцать пять лет труда и экономии, и поспешил сказать доброй и достойной женщине, что обилие простоты почти похоже на роскошь.

Богу известно, если бы я увидел ее сидящей в лохмотьях у гроба бедного пастора, моего предшественника, я бы любил ее и почитал точно так же, как теперь любил и почитал; но, однако, должен признаться и в том, что во время этого осмотра моего будущего богатства я все же испытал некоторое удовлетворение, вовсе не связанное с любовью к собственности.

Тут мне вспомнились слова моей приемной матери о том, что, вероятно, вскоре вместе со мной в доме будет жить молодая хозяйка, и я с гордостью думал: если предсказание сбудется,

²⁰⁴ Обол – самая мелкая древнегреческая монета, серебряная или медная; 1/6 драхмы; в переносном смысле – маленький денежный взнос. Здесь имеется в виду евангельская притча о бедной вдове, положившей в сокровищницу храма две мелкие медные монеты (лепты), в то время как другие верующие клали богатые дары. Увидев это, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила» (Лука, 21:3). Отсюда и возникло выражение «лепта вдовы», то есть посильное подаяние.

²⁰⁵ Уэрксуэрт (Уирксворт) – населенный пункт в 15 км к северо-востоку от Ашборна.

мы сразу же, вступая в супружество, будем богаты так, как другие бывают богаты только через десять, двадцать, тридцать лет.

Моя нежность к дорогой дарительнице ничуть не возросла, но к ней присоединилась признательность, и это вылилось в чувство более глубокое, более горячее, и я бы даже сказал – какая же страсть к собственности таится в глубинах человеческого сердца! – исполненное большей преданности.

Мы сели за стол.

Вы уже знаете, дорогой мой Петрус, что природа одарила меня отменным аппетитом; но на этот раз мысль о том, что я ел, пользуясь фаянсовой посудой и столовым серебром, которые в один прекрасный день будут принадлежать мне, только усилила удовольствие от еды, и, хотя она была просто вкусной, я нашел ее превосходной; затем, после обеда, во время которого г-жа Снарт, как добрая мать, и я, как добрый сын, договорились о наших будущих делах, я обнял ее и, несмотря на ее настойчивые просьбы остаться еще на денек, сел в одноколку и отправился в Ноттингем.

Подлинной причиной этого отъезда было мое желание как можно скорее сообщить меднику о моем триумфе.

Увидев перед домом священника одноколку, около дюжины крестьян собрались с намерением попроситься со мной.

Я простился с ними и попросил их пожелать мне скорого возвращения.

Стоя с непокрытыми головами и несмело протягивая мне руки, они сделали это.

Я пожал руку каждому, затем обнял самого старого из них, попросил его благословить меня и, как уже было сказано, сел в одноколку и отправился в Ноттингем.

Вдоль всей улицы я видел группки из трех-четырех крестьян, о чем-то беседующих между собою.

Заслышав грохот одноколки, они оборачивались и при виде меня улыбались. А я говорил себе гордо – ведь, увы, дорогой мой Петрус, Вы не ведаете, какой сорной травой, каким живучим растением является гордыня! – так вот, я говорил себе:

«Они обсуждают мою проповедь и радуются тому, что их пастор красноречивее всех других пасторов в округе!»

В глубине же души я таил и другую мысль:

«А что же будет, когда я создам свое великое произведение?!»

Ведь к этому великому творению, которое я считал бесповоротно приговоренным к небытию, мысль моя время от времени возвращалась.

Правда, вскоре меня отвлек вид равнины и встречающиеся по пути те дома, те дети, те животные, которые со времени моего приезда внушали мне столь благотворные мысли.

Я улыбался всему этому и благословлял все по пути тем более радостно, что не сделал этого раньше: теперь у меня имелись основания считать достоверностью то, что еще недавно было всего лишь зыбкой надеждой.

К двум часам пополудни я уже возвратился в Ноттингем.

Мой хозяин-медник ушел из дому, чтобы отнести свои изделия заказчикам; однако мне сказали, что ушел он ненадолго, и я решил дожждаться его в лавке.

И правда, он возник на пороге буквально через несколько минут.

– А! – произнес он, читая на моем лице радость, слившуюся с гордостью. – Нет нужды спрашивать, довольны ли вы вашим путешествием... Похоже, дела пошли на лад?

– Просто превосходно, дорогой мой хозяин! – ответил я. – Успех превзошел все мои ожидания.

– Тем лучше, – промолвил он, – тем лучше! И я рад, что меня обманули мои предчувствия... Признаюсь, я ждал вас с некоторым беспокойством и не очень-то надеялся на вашу

проповедь... Ну, да что же вы хотите, я маленький человек, ничего не смыслящий ни в литературе, ни в богословии, ни в науке. Я оказался не прав, а вы правы.

Признаюсь Вам, дорогой мой Петрус, остаток былой гордыни, еще не изжитой во мне, склонял меня поверить милому человеку, что это он ошибся, а я был непогрешим; но я устыдился этого голоса гордыни и тут же преодолел ее.

– Нет, дорогой мой хозяин, нет, – ответил я ему, – напротив, вот вы-то правы, а я не прав. От прежней проповеди, которую я вам читал и которую вы с полным основанием нашли отвратительной, остался только стыд за то, что я ее написал.

И тут я рассказал ему обо всем, что произошло со мной: как вид всех естественных и восхитительных предметов, встретившихся мне на пути, изменил течение моих мыслей, как я мужественно разорвал мою проповедь и как с Божьей помощью без всякой подготовки прочел другую.

– Слава Богу! – откликнулся он, подойдя ко мне, и протянул руку. – Я об этом много думал: у вас золотое сердце, только разум ваш порою бывает неверно направлен, но это происходит по той причине, господин Бемрод, что вы человек слишком уж ученый. Существует множество людей, и я в их числе, которым следовало бы больше знать, вам же, сударь, напротив, следовало бы о многом забыть.

Я гордо усмехнулся.

У меня было довольно здоровое понимание меры моих познаний, чтобы почти целиком разделить мнение моего хозяина-медника и признать, что я действительно мог бы многое забыть и при этом прекрасно все понимать.

Я вернулся в мою комнатку и стал терпеливо ждать решения господина ректора, к которому я приходил дважды, но не имел чести быть им принят.

Стало ясно, что достойная г-жа Снарт не ошиблась.

Ректор надеялся, что вторая моя проповедь провалится так же, как провалилась первая; затем придет очередь проповедовать его племяннику и он добьется успеха там, где я потерпел поражение; сами прихожане пригласят на вакантное место пастора молодого человека, рекомендованного ректором, и при этом будет соблюдена видимость самой строгой беспристрастности, поскольку это он устроил состязание между нами и вовсе не он, а победа его племянника решила дело в пользу более достойного.

Вопреки этому хитрому плану, вопреки всем чаяниям, вместо ожидаемого провала я добился неожиданного успеха; крестьяне, вместо того чтобы просить племянника ректора стать их пастором, написали, что именно меня они желают видеть своим пастором, добавив, что выбор их настолько бесповоротен, что было бы просто бесполезно представлять им другого соискателя.

Не осмеливаясь что-либо предпринимать против подобного единодушия, племянник ректора держался в тени, а сам ректор, поддавшись приступу дурного настроения, закрыл передо мной свою дверь.

Но это был человек слишком искушенный, чтобы на глазах у людей обращаться со мной так несправедливо; и вот через три недели после того дня, когда я столь успешно проповедовал в приходе Ашборна, меня назначили туда пастором.

Это назначение, ставшее исполнением всех моих желаний, радовало меня настолько же, насколько молчание ректора начало было всерьез беспокоить.

Вот почему, едва успев распечатать письмо, сообщавшее о моем назначении, я сразу же отправился к ректору высказать ему свою благодарность.

На этот раз он меня принял и в ответ на выражения признательности заявил, что всего лишь действовал в соответствии с собственной совестью; что, стараясь не впасть в ошибку по вине ложных донесений, он сам пришел меня послушать и, удовлетворенный стилем моей проповеди, сердечно присоединяется к тем, кто меня поздравил.

Вместе с тем он счел своим долгом предупредить меня, что жалование пастора в деревне Ашборн, вероятнее всего, будет сокращаться, что экономия становится все более необходимой и что мне не следует удивляться, если жалование в девяносто фунтов стерлингов будет уменьшено до восьмидесяти, а то и до семидесяти фунтов стерлингов.

Я ответил ректору, что в этом отношении полагаюсь на его благожелательность ко мне, столь убедительное доказательство которой он только что мне дал.

Ректор пробормотал несколько слов, не заключавших в себе ни дружественности, ни угрозы; тут я заметил, что не по моей воле визит мой несколько затянулся, а потому откланялся и удалился.

Получив назначение, я поспешил присоединиться к моей доброй приемной матери и вступить во владение прекрасным домом священника, столь хорошо оборудованным всем необходимым, что, не нуждаясь ни в каких покупках, я вряд ли почувствую уменьшение дохода на десять фунтов стерлингов в год, даже если это действительно произойдет.

Итак, прежде чем возвратиться к моему хозяину-меднику, я попросил прокатчика карет прислать мне одноколку с кучером и устроить все так, чтобы я мог уехать в полдень или часом позже.

В половине первого одноколка уже стояла у дома.

Мой отъезд, по всей видимости, одновременно и огорчал и радовал моего хозяина-медника: огорчал, потому что я с ним расставался, радовал, потому что я уезжал в хороший приезд, о котором я говорил ему как о неe plus ultra²⁰⁶ моих желаний.

И в ту минуту, когда мы уже готовы были попрощаться, он, растроганный, попросил меня взять на память о нем три-четыре кастрюли и один-два котла, которые должны были заложить основу моей кухонной утвари; но, поскольку в доме у вдовы я видел множество кастрюль и котлов, более красивых и более вместительных, нежели предлагаемые мне медником, я отказался, объяснив, быть может слишком просто, причину этого; в результате медник обиделся, забрал свои кастрюли и котлы, повесил их на прежние места и попрощался со мной с огорчившей меня холодностью, устранять которую я, тем не менее, счел ниже своего достоинства.

Сборы в дорогу заняли немного времени.

Весь мой туалет состоял из плаща, сюртука, двух пар коротких штанов, двух курток, четырех пар чулок, пяти-шести рубашек, двух пар башмаков и шляпы.

В качестве движимого имущества я владел только подзорной трубой моего деда-боцмана.

Сверток с одеждой я положил в экипаж, трубу устроил между ногами и, цокнув языком, дал тем самым сигнал к отправлению и уехал, даже не обняв на прощание моего хозяина-медника, хотя в глубине души, конечно, желал того.

Отъезжая, я посмотрел сквозь заднее окошко одноколки и мне показалось, что достойный человек возвращается к себе домой, горестно покачивая головой и смахивая слезу.

Мне захотелось вернуться и помириться с ним, но я боялся, что увиденная мною сцена – всего лишь обман зрения, и потому не дал увлечь себя нелепому порыву.

Рука моя, уже протянутая, чтобы тронуть за плечо сидевшего рядом со мной кучера, замерла и упала мне на колено, а я тихо прошептал:

«Ах, ей-Богу, тем хуже! Ну почему он такой впечатлительный?»

Дорогой мой Петрус, впоследствии я не раз говорил себе, что его впечатлительность была вполне естественной.

То, что предлагал мне этот славный человек, он предлагал от чистого сердца, а сколь бы скромным ни был дар, не принять его нельзя было, таким образом он это делал.

²⁰⁶ «Nee plus ultra» (лат. «крайний предел») – латинский фразеологизм, источником которого, по-видимому, была надпись, начертанная Гераклом на т. н. Геркулесовых столпах – возвышенностях по обоим берегам Гибралтарского пролива, считавшихся в древности концом обитаемого мира. Согласно некоторым мифам, Геракл сам воздвиг эти утесы, проделав проход между Средиземным морем и Океаном.

Быть может, меня и дальше занимали бы эти мысли, если бы не возникло обстоятельство, достаточно серьезное для того, чтобы я в один миг забыл даже о душевном охлаждении ко мне моего хозяина-медника.

На дороге я не заметил никаких перемен – она оставалась по-прежнему оживленной и радовала, однако, когда мы миновали окраину деревни, мне показалось, что налет какой-то печали лег на лица людей, встречавшихся мне по пути.

Вместо того чтобы бежать навстречу одноколке и приветствовать мое появление, крестьяне опускали головы и отводили глаза в сторону.

Тут я почувствовал, как что-то настолько больно сжало мне сердце, что у меня не хватило мужества обратиться к ним с расспросами; я продолжил, а вернее, позволил лошади продолжить путь, при этом не замедляя и не ускоряя шага, и таким образом подъехал к двери пасторского дома.

Мой взгляд тотчас устремился во двор, и я увидел там густую толпу людей в черных одеяниях, совсем непохожих на жителей Ашборна и мне совершенно незнакомых: они стояли у двери, они были видны в открытых окнах, они горячо говорили о чем-то между собой и выглядели крайне озабоченными.

Я начал догадываться об ужасной беде.

Спрыгнув с одноколки, я вошел в дом, пересек столовую, вошел в спальню – единственную комнату, оставшуюся безлюдной, и здесь, на каменном полу, среди совершенно пустых стен увидел сосновый гроб, крышка которого чуть сдвинулась набок, а значит, еще не была приколочена.

Дрожь прошла по моему телу: я обо всем догадался.

Закрыв за собой дверь, я остановился и положил руку на колотящееся сердце, чтобы как-то собраться с силами, затем, овладев собой, подошел к гробу и приподнял крышку.

Там, накрытая изорванной простыней, лежала моя добрая приемная мать; ее запрокинутая голова жестко покоилась на деревянной перекладине.

Мужчины и женщины, заполнившие дом, были наследниками десятой очереди: о них г-жа Снарт говорила мне как о людях, которым она ничего не должна из своего достояния.

Я начал с молитвы у ее безжизненного тела; затем, поскольку мне было стыдно и печально видеть, как эта достойная женщина, чьи шкафы переполняло прекрасное белье, лежала в столь жалком саване и покоила голову на столь жесткой перекладине, я вышел из комнаты и купил у одного из наследников простыню, а у другого – подушку; вернувшись к покойнице, я обернул бедный труп в новую простыню, убрал перекладину и под голову усопшей, своим спокойствием походившей на спящую, подложил подушку, на которой ей предстояло покоиться всю вечность.

Я стал на колени и молился до тех пор, пока столяры, вышедшие хлебнуть спиртного, не вернулись, чтобы заколотить гроб.

Когда они вошли с молотками в руках и с гвоздями в Фартуках, я понял, что настал час сказать бедной усопшей последнее прости; я скрестил ее руки на груди, затем пошел в сад и сорвал по веточке с каждой из трех ив, напоминавших о днях рождения ее дочерей; подложив эти веточки под ладони покойницы, я почтительно поцеловал ее в лоб и сказал:

– Иди, достойная мать! Иди, безупречная супруга! Вновь обрети на Небе все то, что ты любила! Человек всего лишь странник на земле!

Несколько минут спустя шесть гвоздей и четыре сосновых доски обозначили пропасть вечности между мной и г-жой Снарт!

ХII. Каким образом был обставлен пустой дом

Но отчего же умерла эта достойная женщина?

Вот об этом-то до сих пор я даже не подумал осведомиться. Я видел воочию ее труп, я не мог сомневаться в реальности этого несчастья, а знать о большем мне не нужно было.

Но когда меня вводили от нее, когда я покинул ее, чтобы уже никогда больше не увидеть снова, я расспросил о случившемся.

Накануне, по возвращении с кладбища, где она совершила свою ежедневную молитву на могиле дочерей, ее прямо на пороге дома поразил апоплексический удар, сразу же ее убивший.

Весть об этой смерти быстро распространилась; тотчас сбежались родственники покойной и, хотя она еще лежала в доме, перед ее непокрытым лицом поделили это отличное белье, эту отменную кухонную утварь и прекрасное столовое серебро – все, что должно было перейти в мою собственность.

Повозки уже стояли у дверей, готовые отвезти полученное добро в дома различных наследников.

Впрочем, дорогой мой Петрус, поверьте тому, что я сейчас Вам скажу, ведь до сих пор я чистосердечно говорил Вам о себе, так что, надеюсь, Вы не усомнитесь в моих словах: если в темных уголках моей души и таились некоторые сожаления обо всех этих прекрасных вещах, ускользнувших из моих рук, то эти сожаления вскоре были заглушены той подлинной и благородной болью, какую причинила мне эта смерть.

Похороны должны были состояться в пять вечера.

Поскольку о моем приезде я никого не предупредил, служить на траурной церемонии пригласили пастора из Уэрксуэрта.

Все наследники спешили покинуть Ашборн: каждый хотел в тот же вечер вернуться к себе домой со своей добычей.

Уэрксуэртский пастор представлял собой человека лет шестидесяти – шестидесяти пяти, с лицом мягким и улыбчивым; он поприветствовал меня как собрата и сказал, что от деревенских жителей слышал так много хорошего о моем таланте и моей особе, что возымел большое желание увидеться со мной.

В итоге он пригласил меня посетить его домик в Уэрксуэрте, в котором он обитал с самого рождения.

Он был женат и жил там вместе с женой и дочерью.

В других обстоятельствах я был бы более восприимчив к его комплиментам и по-другому ответил бы на его приглашение, но сейчас все мои душевные силы поглощала огромная боль, причиненная мне утратой достойной г-жи Снарт.

Так что я просто пожал руку г-ну Смит, пробормотав какие-то слова благодарности, а затем отвернулся, чтобы он не увидел, как меня душат слезы.

Тут я услышал произнесенные им шепотом слова:

– Добрый юноша!.. Меня не обманули.

Прозвонили пять вечера; носильщики подняли гроб; г-н Смит и я шли впереди, а наследники и деревенские жители – за гробом.

Примечательным явилось то, что по-настоящему были огорчены именно эти славные крестьяне, не состоящие ни в каком родстве с усопшей и совершенно бескорыстные.

Наследники шагали, оживленно разговаривая между собой с почти возмутительным равнодушием.

Вы знаете, сколь просты наши похоронные церемонии: никакой напыщенной помпезности, никаких религиозных песнопений – только молитвы.

После остановки у церкви тело понесли на кладбище.

Если бы мне и не указали на выкопанную могилу, я все равно знал бы место, где доброй женщине предстояло покоиться всю вечность.

То было место посреди трех могил, имевших вид скорее радующего взор садика, нежели последнего земного приюта.

Могилы старшей дочери вся была усажена кустами благоухающих роз; могила средней дочери скрылась под ковром из барвинков;²⁰⁷ третью же могилу – могилу младшей из них, бедной семилетней девочки, которая вложила милостыню в руку нищенки и, пораженная болезнью раньше всех, первой подняла ангельские крылья, чтобы улететь на Небеса, – так вот, третью могилу густо усеяли фиалки.

После смерти трех своих детей г-жа Снарт каждый день приходила сюда провести здесь часок, возделывая землю, орошая ее, ухаживая за посаженными на могилах цветами и готовя для себя последнее жилище посреди этого священного треугольника.

День, ожидаемый ею с таким нетерпением, наконец, наступил: могила была выкопана и, зияя, ждала усопшую.

Господин Смит и я произнесли молитву над скромным гробом, и, едва она закончилась, его стали опускать с помощью веревок, и он бился о стенки узкой могилы.

Вскоре скрежещущий звук поднимающихся веревок возвестил, что гроб опущен на дно.

Над зияющей могилой вослед покойнице, блуждающей уже среди сумерек вечности, прозвучала последняя молитва; затем с лопаты могильщика покатались на гроб первые комья земли, ударяясь с глухим стуком (кто слышал хоть однажды этот звук, не забудет его никогда); потом посыпались новые комья земли, стучавшие все тише и тише, и вот уже над травой вырос темный холмик, напоминающий по форме гроб, только что опущенный в могильные недра.

Мне очень хотелось произнести над этой могилой несколько слов прощания, но, лишь только я приоткрыл рот, как меня стали душить рыдания.

Эти рыдания сказали больше, чем могло бы выразить самое красноречивое надгробное слово.

Если бы я смог говорить, то сказал бы примерно так:

«Святая женщина! Благородное сердце! Щедрая душа! Смерть, которую ты ждала с нетерпением и без страха, наконец, пришла к тебе, успокоила твои страдания, избавила тебя от тревог и забот.

В этот час, добрая мать, ты вновь обрела трех своих детей; вид их траурных венчиков уже не вызывает у тебя слез, так как эти венчики сияют на их ангельском челе, свежие, благоухающие, бессмертные.

Плачущий над твоей могилой – это я, тебя переживший... я, еще не ведающий, что бытие приберегает для меня радости и страдания и вверяет меня твоим молитвам, о благословенная женщина, чтобы отвести от меня печали, которые ты претерпела, или, если тебе не удастся это сделать, то, по крайней мере, дать мне силу вынести их так, как выносила их ты!..»

Вот какие слова произнес бы я во весь голос; вот какие слова я прошептал едва слышно.

С кладбища я возвращался, опершись на руку почтенного г-на Смита, не произнося ни единого словечка.

У кладбищенских ворот похоронная процессия распалась; только наследники держались группой и, ускорив шаг, устремились к пасторскому дому.

Как я уже упоминал, они торопились покинуть деревню, каждый увозя то, что ему досталось.

Поэтому, придя туда, я успел увидеть, как последние повозки, нагруженные мебелью, поворачивают за угол улицы.

²⁰⁷ Барвинок – вечнозеленые многолетние травы с кожистыми листьями и крупными (обычно голубыми) цветами; растет в Европе и Западной Азии.

– Войти ли мне с вами или нам расстаться здесь, брат мой? – спросил меня г-н Смит.

– Благодарю за ваше предложение, но сейчас мне необходимо побыть одному...

– В таком случае, – откликнулся г-н Смит, – обнимите меня и помните, что на расстоянии одного льё отсюда, в деревне Уэрксуэрт, у вас есть друг.

Мы обнялись, затем он пожал мне руку и удалился.

Я стоял на пороге до тех пор, пока он не исчез из виду, а затем вошел в дом – покинутый, опустевший и низведенный до четырех голых стен.

Нет, дорогой мой Петрус, за всю мою жизнь я не испытал и, вероятно, никогда уже не испытаю подобного чувства печали, покинутости, отторгнутости от всего мира. Все двери и все окна были открыты настежь; чувствовалось, что здесь прошла смерть и что перед этой полноправной владычицей, внушающей священный трепет, распахнулись и двери и окна.

Я молча бродил по комнатам, сам похожий на тень.

Единственная хромоногая табуретка, которой наследники пренебрегли из-за явной ее малоценности, стояла прислоненной к стенке.

Эти табуретка и подзорная труба моего деда-боцмана, составлявшие ядро будущей обстановки моего дома, вместе с гинеей и несколькими затерявшимися в кармане шиллингами – вот все, чем я обладал в этом мире.

Закрыв двери и окна, я отнес табуретку в комнату вдовы, приставил ее к стене на том месте, где стояла кровать покойной, затем сел там и прошептал:

«О, как же ты была права, юная девушка, когда в предсмертную минуту с твоих уст сорвались эти последние слова: „Человек всего лишь странник на земле!“»

С неба нисходили сумерки; они заполнили весь дом, погружая его в еще большую печаль, чем это было при свете дня; и вскоре я очутился не только в полном одиночестве, но и в полной темноте.

Но какое это имело значение! Сколь бы темным и сколь бы пустынным ни был дом, на сердце моем всегда будет еще более сумрачно, еще более одиноко!..

На заре следующего дня в дверь постучали с улицы.

Встав с табуретки, на которой мне, в конце концов, около часу ночи удалось уснуть, я пошел открыть дверь.

Стучал школьный учитель.

Я жестом пригласил его войти и, стоя перед столовой, стал ждать, пока он соблаговолит объяснить мне причину столь раннего визита.

Похоже, гость чувствовал себя весьма стесненно; он комкал шляпу в руках и бормотал нечто невразумительное.

Я приободрил его улыбкой и просьбой простить меня за то, что не могу предложить ему стул, поскольку из всей мебели наследники оставили только табуретку, на которой я и провел всю ночь.

– Именно в этом, господин пастор, и кроется цель моего визита, – заявил учитель. – Жители деревни знают, что госпожа Снарт, ставшая для вас приемной матерью, относилась к вам как к родному сыну и должна была сделать вас своим наследником... Смерть унесла ее неожиданно, так что добрая женщина просто не успела написать ни дарственную, ни завещание; вот почему вы сидите здесь, где нет ни занавески, ни стула, ни матраса.

– И правда, друг мой, если бы я и захотел скрыть от ваших глаз мою бедность, мне бы это не удалось.

– Так вот, господин пастор, – продолжил школьный учитель, все сильнее воодушевляясь, – вот что без вашего соизволения они решили...

– Кто же это – они?

– Ваши прихожане... Они собрались вчера вечером и решили, что каждый предложит вам что-нибудь для вашего маленького хозяйства: кто – деревянную кровать, кто – матрас, кто

– подушку, кто – простыни, кто – занавеси; столяр доставит вам стол; токарь принесет вам стулья и так далее, господин пастор.

– Как! – изумился я. – Эти славные люди решили сделать это?

– Да, господин пастор, даже без вашего на то согласия, и вот сегодня утром они послали меня к вам, говоря: «Предупреди господина пастора о нашем намерении, и пусть он учтет: то, что мы хотим ему подарить, не Бог вещь что, мы это знаем, но предлагаем ему это от всей души».

– Что за чудесные люди! – воскликнул я. – Где же те, кого мне следует благодарить?

– О, они у себя дома ждут вашего согласия, чтобы по первому же слову принести вам свои скромные дары. Впрочем, двое или трое из них стоят на площади и, похоже, беседуют между собой... Я подам им знак, что вы согласны, хорошо, господин пастор?

– Нет, нет!

– Как, вы отказываетесь?

– Напротив, я сам пойду сказать, как я им признателен. Затем, распахнув объятия, я бросился из дому:

– Заходите, заходите! – крикнул я им со слезами на глазах. – Я согласен, я принимаю ваше предложение с открытой душой и с большой радостью и во всеуслышание заявляю о своей бедности, чтобы вы знали: ваш смиренный пастор не имеет ничего и все, чем он владеет, – ваше.

Я не успел договорить, как три человека с площади бросились бежать в трех разных направлениях.

Несколько минут спустя из каждого жилища вышли мужчина, женщина и ребенок, и ни у кого из них руки не были пустыми; все они спешили к пасторскому дому.

Сердце мое переполняло радость и гордость, и я чуть слышно говорил себе, я спрашивал у Господа и у Вас, дорогой мой Петрус:

– Выходит, я чего-то стою, если меня так любят?

Я ждал в объятиях тех, кто первым пришел ко мне, и целовал их, мужчин, женщин, детей, как целовал бы моих братьев, мою жену или моих собственных детей.

– Теперь, господин пастор, – сказал школьный учитель, – пусть они действуют по собственному усмотрению, оставьте их в доме, а сами приходите ко мне завтракать. Увы, я здесь один из самых бедных и могу предложить вам только завтрак, но им займется жена моя и дочь, и они, быть может, приготовят вам нечто такое, что не будет уж слишком недостойным вас.

Я уже себе не принадлежал – я принадлежал этим славным людям и предоставил себя в их распоряжение.

Дальше я не мог говорить, так душили меня слезы; поблагодарив сельчан жестами, я пошел за школьным учителем.

Как и говорил добряк, дом его был одним из самых бедных в деревне; наш завтрак подали на керамическом блюде и в оловянной посуде; но сомневаюсь, что даже у короля Англии мне предложили бы столь же вкусную еду.

Во время завтрака мой хозяин два-три раза поднимался из-за стола, чтобы переговорить то с одним, то с другим из моих славных прихожан.

Учитель попросил меня не возвращаться в пасторский дом, пока мне не скажут, что пора. Так что я стал ждать его распоряжений, беседуя с его дочерью и супругой.

Около одиннадцати дверь бедной хижины растворилась.

На пороге появились два самых древних в общине старца в праздничных одеждах.

– Теперь, – обратились они ко мне, – если господин пастор пожелает прийти, мы его ждем.

Я вышел. Вся деревня выстроилась вдоль улицы; земля была усыпана зеленой цветочной листвой, как это бывает в дни больших церковных праздников; даже дверь моего дома украсили ветками и плетеными гирляндами.

То был триумф смиренного.

Я остановился на пороге, приглашая старцев войти, но они из чувства деликатности отказались:

– Спасибо, господин пастор; мы охотно пожертвовали для вас треть рабочего дня, но каждый должен вернуться к своему труду: одни – в поле, другие – в лавку. Входите же в свой дом и простите нас, если мы сделали что-нибудь не так.

Я обнял обоих стариков и, повернувшись ко всем этим славным людям, сказал:

– Друзья, вы сделали для меня то, что я никогда не забуду и за что сохраню к вам чувство вечной благодарности... Идите же со спокойной совестью, и да хранит вас Господь!

Все хором поблагодарили меня и удалились, быть может более довольные и более счастливые, нежели я сам, ведь я получил, а они – отдали.

Я вошел в дом: двух часов оказалось достаточно, чтобы он полностью изменил свой вид. Уходя, я видел его пустынным и печальным, возвратившись, я нашел его обставленным и сияющим.

Осмотр я начал со столовой.

Посреди ее красовался стол, покрытый тонкой скатертью, вокруг него стояли шесть стульев из плетеной соломы, у стены был поставлен шкаф орехового дерева, а в нем помещены стаканы, глиняные горшки, фаянсовая посуда в цветах и птицах – все, конечно, обычное, но зато чистое, веселое, сверкающее!

В ящиках лежал полный набор ножей, ложек и вилок, пусть оловянных, но блестящих, как серебряные.

На окнах висели белоснежные занавеси с полотняными подхватами. Молитвенно сложив руки в знак благодарности одновременно Богу и этим добрым людям, я прошел в спальню.

Там меня ждала отличная кровать; два больших кресла открыли мне свои объятия; комод с небольшим зеркалом на нем размещался напротив кровати; шесть больших портьер из индийской ткани дополняли обстановку – две свисали с потолка над кроватью, четыре висели на окнах.

Я спустился в кухню; там имелось все необходимое, и все же, возвратившись мыслью в прошлое, я пожалел о трех-четырех кастрюлях и двух котлах, которые предложил мне мой хозяин-медник и от которых я отказался.

Из кухни я поднялся в комнатку, в которой мне довелось жить во время двух моих визитов в Ашборн. Мои славные прихожане превратили ее в рабочий кабинет, у стены которого красовался письменный стол с перьями, чернилами, перочинным ножиком, линейками, карандашами и стопкой бумаги.

Бумага оказалась великолепной.

– О! – воскликнул я. – Не позже чем завтра начну мое великое творение!.. Завтра? – спросил я себя. – Почему завтра, а не сейчас же?!..

И я придвинул стул к письменному столу, сел, заострил перо и написал на первой странице:

«ТРАКТАТ ПО СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ»

Но я переоценил свои душевные силы и ясность моего ума.

Произошедшие события крайне меня впечатлили; в этот час я оказался явно неспособен упорядочить мои мысли и придать им определенную направленность: разбежавшимся и дрожащим перед лицом смерти, словно овечки при виде волка, им надо было дать время собраться и успокоиться.

А пока каждая из них спотыкалась о какое-нибудь препятствие: одну остановили три могилы, покрытые розами, барвинками и фиалками, среди которых только что появилась четвертая могила; другую поразило возмутительное равнодушие наследников г-жи Снарт, шедших в похоронной процессии с таким же выражением лица, с каким они присутствовали бы на свадьбе; однако, подобно пчелам, роящимся у цветов, большинство моих мыслей возвращалось к доброте моих славных прихожан, свивших для меня среди своих жилищ такое уютное гнездо.

Затем я перебрал в памяти все свои богатства; они предстали перед моими глазами словно наяву, и я вспомнил то, что во время второго путешествия сказала мне моя добрая мать о моей молодости, об одиночестве моего сердца, об испытываемой мною нужде в спутнице жизни.

Я говорил себе: да, каким бы веселым ни стал мой дом, какой бы радостной ни была его меблировка, какую бы любовь я ни чувствовал к моим прихожанам, какой бы привязанностью они мне не отвечали, я в какие-то часы буду оставаться наедине с самим собою; я спрашивал себя: что мне делать с этим хозяйством, быть может несколько недостаточным для двоих, но несомненно слишком большим для одного.

Кто будет следить за порядком в доме? Кто побеспокоится о приготовлении пищи? Кто после возвращения из моих поездок – то по деревне, то по окрестностям – будет на пороге ждать меня с приветливой улыбкой, которая торопит войти в дом того, кто так долго отсутствовал? Возложу ли я все эти заботы на плечи посторонней женщины? Увы, при посторонней женщине не будет ли дом еще более пустынным, а мое сердце – еще более одиноким?

Перо выпало из моих пальцев; я вздохнул и, чувствуя, что кровь приливает к моим щекам, открыл окно, чтобы вздохнуть полной грудью.

На следующий день мой разум был спокоен, и ничто не мешало мне приняться за мой трактат по сравнительной философии.

ХIII. О том, что я увидел из окна с помощью подзорной трубы моего деда-боцмана

Конечно же, я подошел к окну только для того, чтобы подышать свежим воздухом.

Небо было так затянуто облаками и стоял такой туман, что я едва мог разглядеть что-нибудь за пятьсот шагов от окна.

Но, казалось, погода только и ждала моего появления, чтобы проясниться, и в ту минуту, когда я взглянул на поля, слабый луч солнца проскользнул между двумя облаками и, просочившись сквозь туман, окрасил его желтоватым светом, который, то слабея, то набирая силу, в конце концов залил весь горизонт; в облаках возник разрыв, позволивший мне видеть уголок лазури.

Теперь появилась вероятность, что день будет прекрасным.

Расположенный больше к мечтательности, нежели к труду, я не сводил глаз с этой изумительной небесной голубизны, говоря себе с тем суеверием, какое живет в каждом из нас, но у меня в эту важную, а то и самую значительную минуту моей жизни, было, быть может, сильнее, чем у кого-либо другого:

«Если эта лазурь, дарующая надежду, распространится по всему небу; если это солнце, светило счастья, разгонит облака и туман – это станет знаком, что Господь мне покровительствует и бережет для меня счастливые дни. Но если, наоборот, этот уголок небосвода исчезнет из вида; если солнце померкнет под влажной вуалью земных испарений, – это укажет, что мне суждена жизнь печальная, одинокая, бесплодная».

Вы понимаете, дорогой мой Петрус, сколь нелепо связал я свою судьбу с капризами облачного июньского дня; но мне необходимо сказать Вам, философу по преимуществу, что человек, не понимая причины упадка в нем мужества, переживает дни уныния, во время которых он спускается с вершины своей силы и ума до детского легковерия или до стариковской слабости.

Я переживал сейчас один из подобных дней; сердце мое испытало слишком много различных чувств, душа моя прошла через переизбыток чрезмерных волнений, так что, для того чтобы вернуться в свое естественное состояние, они нуждались в этой дремоте, являющейся для сознания тем же, чем становятся предрассветные сумерки для дня, – переходом между ночной тьмой и светом, между усталостью и отдыхом.

Так что глаза мои напряженно вглядывались в небо, словно я надеялся увидеть там то ли путеводную звезду, что вела пастухов-избранников к святым яслям,²⁰⁸ то ли три страшных огненных слова, на мгновение осветивших Валтасару²⁰⁹ пропасть, куда ему предстояло низвергнуться.

В течение полчаса я не мог отгадать, за каким из борющихся между собой духов – добрым или злым – останется победа; но Ормузд, наконец-то, взял верх над противником.²¹⁰ Лег-

²⁰⁸ Здесь совмещены два евангельские рассказа о событиях, связанных с рождением Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея (9: 10), к городу Вифлеему, где находился только что родившийся Иисус, звезда привела пришедших с Востока волхвов-мудрецов. В Евангелии от Луки (2: 8-10) сказано, что поклониться новорожденному младенцу явились пастухи, которым место его рождения было указано ангелом.

²⁰⁹ Валтасар – сын последнего царя Вавилона Набонида; в 539 г. до н. э. был убит при взятии города персами. Имеется в виду библейский эпизод из описания его гибели. На пиру, устроенном Валтасаром во время осады его столицы, персты невидимой руки вывели на стене слова: «Мене, текел, упарсин». Иудейский пророк Даниил растолковал эти слова как предзнаменование скорой гибели царя: «Мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Даниил 5: 26–28). В ту же ночь столица была взята, а Валтасар убит.

²¹⁰ В древнеперсидской религии зороастризма признается существование двух верховных богов: благого Ахура-мазды (гр. Ормузда) и злого Анхра-Майнью (гр. Аримана). Вся мировая история есть столкновение этих высших сил; в итоге силы добра

кий ветерок, пришедший ему на помощь, стал гнать облака по небу, постепенно разделяя их на клочковатые волны; затем ватный небесный покров начал разрываться кусок за куском; солнечные лучи, расширяющиеся по мере своего приближения к земле, разогнали остатки тумана своими золотыми клинками; открылись огромные площади неба, лазурные и радостные; широкие прорехи в тумане позволяли увидеть некоторые части равнины; озера блестели; в цепи холмов, змеившихся на горизонте, силуэты их вершин четко выступали над широкими лентами тумана, словно отделявшими их от собственных подножий; волна света, подобно водопаду, затопила деревеньку, расположенную у самого дальнего из холмов, и она стала казаться такой близкой, что хотелось дотянуться до нее рукой; наконец вся эта игра солнечных лучей, все эти атмосферические причуды мало-помалу исчезли.

Земля обрела свой обычный вид.

Последнее облачко уплыло далеко на запад, и победоносно сияющее солнце осталось единственным владыкой пространства, единственным монархом ясного и безграничного царства.

Целиком охваченный триумфом светила-короля, триумфом, которому я приписывал столь благотворное влияние на мою судьбу, я искал взглядом деревеньку, которая, будучи только что благодаря солнечному лучу такой яркой и близкой, теперь затерялась где-то на горизонте.

Мне пришлось пристально всматриваться, чтобы увидеть ее вновь; в конце концов среди голубоватых далей я заметил нечто похожее на кучку домов, неразличимую в подробностях и, более того, едва видимую в целом.

И тогда меня охватило желание увидеть еще раз эту деревню, выступившую из ночной темноты, чтобы тотчас исчезнуть из виду.

Я схватил подзорную трубу моего деда-боцмана и полностью растянул ее.

Затем я опер трубу об угол подоконника.

Направив ее в сторону деревни, я стал смотреть.

Как это бывает у людей, не привыкших к обращению с таким оптическим прибором, сколь бы хорош он ни был, я видел даже хуже, чем невооруженными глазами.

Однако мало-помалу стекла стали словно прозрачнее, а расстояние будто сократилось, и я прекрасно разглядел предмет, на который случай направил мою трубу.

Я увидел стоящий в стороне от других строений кирпичный домик, покрытый некогда белой штукатуркой; в нескольких местах она отвалилась, и там проглядывал каркас здания; эти разноцветные пятна на стенах соединялись между собой стеблями гигантского плюща, сплошным ковром укрывшего весь дом; для глаза поэта или для кисти художника домик являл собой очаровательную живописную картину, придававшую краски пейзажу, который в свою очередь придавал прелесть домику.

У одного из его углов, подобно колокольне из зелени, возвышались три тополя, столь тесно прижавшиеся друг к другу, что лишь стволы обозначали их отдельность, в то время как их слившаяся в общую массу листва образовала единую зеленую пирамиду; у другого угла росла густая сирень, расцветшая под майскими лучами, а с ней соседствовала купа розовых и белых акации, душистые кисти которых покачивались на ветру.

А над акациями виднелось открытое окно комнаты, куда взгляд проникал, сначала не различая в полутьме ничего, кроме белых муслиновых занавесей, закрывавших изножье кровати.

Не знаю почему, но труба моего деда-боцмана, нацеленная на это окно, не сдвинулась ни на йоту, чтобы остановиться на какой-нибудь другой части пейзажа и, наоборот, словно забавлялась, показывая мне все, что было в этой комнатке, и делала это со странным упорством,

присущим неживым предметам, с упорством, которое зачастую наводит на мысль о том, что у них есть собственные намерения и собственная воля.

Таким вот образом из-за упрямства моей подзорной трубы, вместо того чтобы искать другой дом или хотя бы иное место того же дома, взгляд мой оказался прикованным к этому окну, через которое мне удалось разглядеть не только стоявшие близко к нему предметы, но и часть мебелировки, увиденной мною благодаря оптическому прибору.

Эта часть мебелировки – иными словами, все то, что я мог видеть, – состояла из туалетного столика с муслиновым покрывалом, двух кресел, обтянутых белой тканью в розовых цветах, и стола, на котором стояла голубая фаянсовая ваза с пышным букетом полевых цветов.

Я глубоко погрузился в созерцание, безотчетно уделив ему немало внимания, как вдруг в глубине комнаты шевельнулось нечто вроде тени.

Эта тень, медленно приближаясь к окну, начала обретать плоть и кровь и, по мере того как она становилась все отчетливее, оказалась фигурой юной девушки лет восемнадцати – девятнадцати.

И тогда что-то странное произошло в моем сознании: мне показалось, что, войдя в поле моего зрения, девушка тем самым вошла и в мою жизнь.

Она оперлась о подоконник, и рама, до этого пустая, превратилась в картину.

И какую картину! Дорогой мой Петрус, такая картина навеяла бы грезы даже профессору философии в Кембриджском университете.

Вообразите же девушку, как я уже говорил, восемнадцати-девятнадцати лет, одетую в белое платье, стянутое по талии, которую можно обхватить пальцами обеих рук, голубым поясом со свободно свисающими концами; головку девушки украшала соломенная шляпа с широкими полями, бросавшая тень на очаровательное личико.

Вообразите личико округлое, бело-розовое, окаймленное двумя пышными прядями золотистых тонких шелковистых волос, вздымающихся при малейшем дуновении ветерка, – и вы составите себе представление о грациозной хозяйке маленького жилища, на который случай направил подзорную трубу моего деда-боцмана.

Девушка держала в руке букет васильков и желтых колосьев, сплетая из них венок.

Этому венку предстояло украсить соломенную шляпку.

Поэтому, сплетя венок, златоволосая красавица развязала тесемки своей шляпки и сняла ее с головы.

Случай, словно сговорившись с самым утонченным кокетством, сделал так, что высвободившиеся волосы рассыпались по плечам девушки.

О дорогой мой Петрус, волосы были роскошные, и прекрасная девушка, полагая, что она одна и никто ее не видит, предоставила мне возможность вдоволь ими полюбоваться!

Начала она с того, что взяла волосы в обе руки, затем перекинула их с плечей на грудь – и они упали ниже подоконника, – легко было догадаться, что они опустились до самых ее ступней.

Отражаемое волосами солнце делало их похожими на золотые лучи, выскользнувшие из его ореола и каскадом струящиеся по этому белому платью, еще более оттеняющему их шелковистое сияние.

Девушка собирала волосы, сплетала их, вновь расплетала, даже не глядя в зеркало.

В ней чувствовалась та неколебимая уверенность в себе, какую дают молодость и красота.

Потом, вместо того чтобы украсить венком из васильков свою шляпу, она возложила его себе на головку, при этом в качестве зеркала использовала оконное стекло.

Я не сумел бы, да и не осмелился бы описать Вам, человеку степенному, какой пленительной простоты были исполнены все ее жесты.

На самом деле в этих распущенных волосах, в этом украсившем их венке чувствовалось только наивное кокетство молодой девушки, которая, ничего не ведая об искусстве соблазна,

прибегает к помощи природы, чтобы стать еще прекраснее не в глазах других людей, а в своих собственных, и я совершенно уверен, что, если бы я был рядом с ней и спросил: «Вы находите себя красивой?» – она бы мне ответила: «Да», как ответила бы роза на вопрос «Приятен ли твой аромат?», как ответил бы соловей на вопрос «Нежна ли твоя песня?».

Да, конечно, она считала себя красивой, однако занималась своей красотой не более минуты – время, достаточное для того, чтобы посмотреть на себя и улыбнуться; потом она вернулась в комнату, взяла пустую клетку и повесила ее на окно, затем, опершись на подоконник, высунулась из окна и стала смотреть по сторонам, словно что-то разыскивая.

Почти тотчас на плечо девушки слетела птичка и два-три раза клюнула ее в губы подобно увековеченному Катуллом;²¹¹ воробью, который точно так же целовал Лесбию²¹² после этого птичка сама вернулась в клетку, дверца которой оставалась открытой, поскольку птичка и не помышляла о бегстве, очевидно считая клетку приютом, а не тюрьмой.

В это мгновение солнце вышло из последнего заслонявшего его облака и предстало столь пылающим, что девушка развязала шнур зеленых жалюзи и скрылась от моего взгляда, сделав недоступной для него свою комнатку, и теперь только мое воображение могло следить за красавицей.

Я оставался на месте еще более получаса со своей подозрной трубой, наведенной на окно в надежде, что жалюзи вновь поднимутся, но, то ли моя прекрасная незнакомка ушла из комнаты, то ли она пожелала насладиться прохладой полутьмы, жалюзи упорно не открывались.

Мне пришлось, по крайней мере на это время, отказаться от надежды увидеть девушку. Я сложил подозрную трубу своего деда-боцмана, подлинную ценность которой впервые осознал.

И правда, настоящее сокровище представлял собой инструмент, при помощи которого на расстоянии можно было различить, к какому семейству принадлежал цветок, какого цвета глаза у человека, к какому виду относится птица.

Поэтому я искренне поздравил себя с тем, что последовал советам моей бедной матушки, которая так горячо просила меня ни в коем случае не продавать эту драгоценную подозрную трубу.

О дорогой мой Петрус, отнюдь не только в этом случае пришлось мне убедиться, что матери обладают ясновидением.

Как Вы помните, я сложил мою подозрную трубу, словно после того, как жалюзи опустились, в мире не осталось ничего достойного созерцания.

И однако же я не отходил бы от окна еще Бог знает сколько времени, если бы не услышал какой-то шум в соседней комнате.

Я обернулся и увидел дочь школьного учителя; отец послал ее, чтобы узнать мои пожелания относительно обеда. У меня не было ни слуги, ни служанки, и учитель, полагая, что мне самому приготовить обед будет затруднительно, велел дочери поступить в мое распоряжение.

На этот раз я сознавал, что мне надо принять решение по этому поводу: я не мог оставаться наедине с девушкой и позволить ей вести хозяйство в моем доме, ибо понимал, что и ее и моя репутация пострадали бы в самом скором времени.

Ах, как и говорила мне добрая г-жа Снарт, если я в ком действительно нуждался, так это в спутнице жизни!

Я громко вздохнул и спустился вместе с девушкой в подвальный этаж. Мои прихожане, обставляя дом, наполнили кладовую и погреб; таким образом, в течение нескольких дней мне

²¹¹ Катулл, Гай Валерий (87/84 – 54 до н. э.) – древнеримский поэт, прославившийся главным образом как лирический поэт, воспевавший любовь не только как чувственную страсть, но и как возвышенную духовную близость.

²¹² Здесь имеется в виду два стихотворения Катулла: «Птенчику» и «На смерть птенчика», которые посвящены любимой птичке его возлюбленной, под именем Лесбии прославленной поэтом. В первом из них Катулл пишет: «... и милый пальчик // Подставляет для яростных укусов» (пер. А.И.Пиотровского).

совершенно ничего не нужно было покупать. Я предоставил дочери учителя действовать по собственному усмотрению и пошел прогуляться по саду.

Почему же я был столь радостным и столь грустным одновременно? Почему в голосе, звучавшем в моем сердце, были одновременно и нежность и печаль? Разве не исполнились все мои желания? Разве не получил я этот приход, которого так добивался? Разве в шкафах не было свежего белья, в сундуке – посуды, в погребе – пива, в ларе – хлеба, в саду – плодов? Разве эти четыре липы, под которыми поставили стол для меня, даже в полдень не даровали мне тень и прохладу? Чего мне еще недоставало? Что еще мне было нужно?

Увы, дорогой мой Петрус, мне было нужно то, о чем я еще вчера не мечтал, то, о чем, как мне казалось, я буду теперь мечтать непрестанно: мне нужно было существо, с которым я мог бы разделить все эти блага, ниспосланные мне Творцом; мне нужен был кто-то, кто сидел бы рядом со мной за этим столом, за которым мне предстояло сидеть одному.

И для того чтобы счастье мое было полным, в том случае если Господь дарует мне ангела-хранителя моей жизни, мне показалось необходимым, чтобы ангел этот обладал длинными золотистыми волосами, голубыми глазами, розовыми щеками и носил белое платье, перетянутое поясом небесного цвета...

XIV. О том, какое влияние может оказать открытое или закрытое окно на жизнь бедного деревенского пастора

Как раз в ту минуту, когда я заканчивал свой обед, дочь школьного учителя привела ко мне какого-то крестьянина. Он оказался посланцем моего собрата, уэрксуэртского пастора, славного и замечательного г-на Смита: о нем я, если не ошибаюсь, уже сказал несколько слов, дорогой мой Петрус, в своем предпоследнем письме, в том самом, в котором были отданы последние почести моей доброй г-же Снарт (Вы ведь помните об этом, не так ли?).

Посланец доставил мне письмо от коллеги.

Вот по какому случаю он мне его написал.

Пастор расположенной по соседству с Уэрксуэртом деревушки заболел, и вот уже больше полутора месяцев прихожане были лишены слова Божьего.

Естественно, они обратились к г-ну Смиту с просьбой найти хотя бы на один день замену его заболевшему собрату; тогда г-н Смит подумал обо мне и предложил этим добрым людям мою кандидатуру, полагая, что, к моему удовольствию и к моей пользе, предоставит мне возможность добиться нового триумфа.

Поскольку весть о моем успехе прогремела по всему краю, крестьяне приняли это предложение с великой радостью; таким образом, все теперь зависело только от меня, и г-н Смит осведомлялся, смогу ли я в ближайший четверг прибыть в Уэттон²¹³ (так называлась деревушка), чтобы произнести там проповедь.

Господин Смит выбрал четверг, так как воскресенье по праву принадлежало моим прихожанам, и он не мог его наметить.

Впрочем, на четверг выпадал праздник, и это меня устраивало, поскольку праздничный день обещал многочисленную аудиторию.

Если я принимаю предложение, пастор будет ждать меня у себя, с тем чтобы проводить в Уэттон, находящийся не более чем в четверти льё от Уэрксуэрта; затем мы возвратимся и позавтракаем в семейном кругу у него дома.

Пастор просил меня дать определенный ответ, для того чтобы его жена и дочь, уезжающие через два часа с визитом к свояченице, живущей в Честерфилде, успели вернуться домой к ближайшему четвергу, если я принимаю предложение; если же, напротив, я от него отказываюсь, они останутся в Честерфилде еще на пару дней.

Приглашение было столь сердечным, что мне даже в голову не пришло отказаться или перенести проповедь на какой-нибудь другой день.

Я попросил у дочери школьного учителя перо, чернила и бумагу и сразу же написал в ответ собрату, что он может в означенный четверг рассчитывать на меня.

Чтобы никоим образом не заставлять его ждать, я буду в Уэрксуэрте к восьми часам утра.

Я хотел дать посланцу шиллинг за услугу, но, оказалось, ему уже заплатили.

Однако мне удалось настоять на том, чтобы он выпил со мной стаканчик пива за здоровье доброго г-на Смита, и посланец ушел вполне довольный.

А теперь, дорогой мой Петрус, почему же я согласился столь поспешно, можно сказать, чуть ли не с радостью?

Чтобы расширить круг моей известности? Чтобы принять приглашение г-на Смита? Чтобы сделать для собрата доброе дело? Все это мало для меня значило.

²¹³ Уэттон – селение в графстве Дербишир, в 13 км к северо-западу от Ашборна.

Больше всего мне хотелось оказаться поближе к девушке с золотыми волосами, с голубыми глазами, с розовыми щечками, в белом платье, перетянутом небесно-голубым поясом и узнать, кто она такая.

При некоторой ловкости, ни единой душе не выдав чувства, которому я повиновался, я несомненно достигнул бы своей цели.

Покончив с обедом и поблагодарив дочь учителя, я отправил ее домой и поднялся к себе в комнату.

Почему я так торопливо поднялся в свою комнату? Вы об этом уже догадываетесь, не правда ли, дорогой мой Петрус? Конечно же, я торопился поскорее снова взять в руки подзорную трубу моего деда-боцмана, растянуть ее и осмотреть весь горизонт в надежде вновь увидеть маленький красно-белый домик под покровом плюща и, если посчастливится, поднятые жалюзи.

Однако жалюзи все время оставались опущенными, и я с трех до пяти часов пополудни тщетно ждал, что они поднимутся.

В этом не было ничего необычного; в жаркий июньский день все опускают свои жалюзи, чтобы доставить себе хоть немного прохлады и полутьмы, и моя прекрасная незнакомка следовала в этом общему обыкновению.

С наступлением сумерек жалюзи ее, должно быть, будут подняты, чтобы через открытое окно пустить в комнату первый ночной ветерок, столь свежий и ласковый после предгрозового летнего дня.

Так что надо было ждать еще два часа.

Но два часа – это очень долго!

Два часа – это очень и очень долго, когда хочешь снова увидеть женщину! Только подумайте, дорогой мой Петрус, я, который двадцать три года не замечал длительности времени и не испытывал желания увидеть еще раз ни одну из увиденных мною женщин, теперь находил, что два часа – это очень долго!

Впрочем, в моем распоряжении был способ сократить время – я мог пойти прогуляться в сторону Уэрксуэрта.

Что особенного в том, что ашборнский пастор знакомится с окрестностями этой деревни?!

Поскольку Уэрксуэрт расположен недалеко от Ашборна, я начну с Уэрксуэрта.

Почему нет? С Уэрксуэрта можно начать точно так же, как с любой другой деревни.

Я вышел.

Было как раз то время дня, когда крестьяне возвращаются после работы домой: женщины ожидали мужей на пороге; дети бежали к ним навстречу; все улыбалось, все распахивало объятия в большой человеческой семье.

И тогда я подумал о нашем мягкосердечном и нежном Вергилии, дорогой мой Петрус, о поэте почти христианском, который так красочно описал огромных длиннорогих белых волов, жующих выгоревшую траву под сенью дубов; баранов, с опущенными головами сгрудившихся под охраной пастуха и собак, когда на небе собирается гроза; и козочку, стоящую на крутом склоне скалы и пощипывающую горький раkitник, – и произнес вслух:

*O fortunatus nimium, sua si bona norint, Agricolas!*²¹⁴

Но почти тотчас я сообразил, что цитата неверна и что мои земледельцы, крестьяне деревни Ашборн, сознавали свое счастье и, имея перед персонажами Вергилия то преимущество, что они были христианами, благодарили за все Небо.

²¹⁴ Трижды блаженны – когда б они счастье свое сознавали! – Жители сел! (лат.) – «Георгики», И, 458–459. Пер. С. Шервинского.

Но кто же сделал этих мужчин такими счастливыми? Эти женщины, ожидавшие их на пороге домов; дети, бежавшие им навстречу; улыбки, посылаемые издалека, и поцелуи в родных объятиях.

У каждого из этих людей был свой ангел-хранитель, благодаря которому дом жил в отсутствие хозяина и при возвращении встречал его любовью.

В чем различие между опустевшим домом и заполненной могилой?

Могила вырыта в земле, а дом построен на ее поверхности; дом это тюрьма времени, могила – тюрьма вечности.

О, мой дом, казавшийся мне похожим на могилу, стал бы прекрасным для меня, если бы, возвращаясь из своих проповеднических поездок, я издали замечал бы на его пороге женскую фигуру в белом, протянутые ко мне руки и устремленный в мою сторону взгляд, а под большой соломенной шляпкой все яснее и яснее видел бы свежее лицо, голубые глаза и золотистые волосы!

Думая обо всем этом, я вышел из деревни Ашборн и широким шагом направился к Уэрк-суэрту.

Правда, по мере того как я приближался к зелено-белокрасному домику, выдвинувшемуся поближе к дороге, словно часовой, походка моя замедлялась; сквозь наступившие сумерки я невооруженным глазом начинал различать его так же хорошо, как из окна моей комнаты при помощи подзорной трубы моего деда-боцмана; однако, несмотря на приход полутьмы, несмотря на отсутствие солнца и прохладу, окно все еще оставалось закрытым.

На беду, в сотне шагов от меня два или три сельских семейства ужинали в холодке под деревом, в то время как пятеро или шестеро детей водили хоровод на дороге.

Они уже не раз посматривали в мою сторону, и, если бы я повернул назад, они могли бы подумать, что я их избегаю; так что я направился к ним с намерением бесстрастно расспросить их о некоторых местных особенностях и, как бы между прочим, об этом домике, стоявшем не более чем в трехстах – четырехстах шагах от меня.

При моем приближении все встали из-за стола.

Я поприветствовал их; две из находившихся там крестьянок слышали мою проповедь и узнали меня; они тотчас же предложили мне сесть за стол вместе с ними и разделить их трапезу; поблагодарив, я отказался.

Дети прервали свои танцы и окружили меня; родители попросили благословить их чад.

– Я слишком молод, чтобы благословлять, – отвечал им я, – но, тем не менее, благословляю от всей души – и не только их, но и вас, ваши плоды, ваш урожай и ваши дома!

Они осведомились, действительно ли послезавтра я буду читать проповедь в Уэттоне вместо захворавшего пастора.

Я ответил им утвердительно: да, г-н Смит пригласил меня совершить это маленькое путешествие и предложил мне свое гостеприимство.

Тут крестьяне стали с похвалой рассказывать мне о порядочности, надежности, мудрости г-на Смита; его жена слыла лучшей хозяйкой в округе, и, хотя приход приносил всего лишь шестьдесят фунтов стерлингов в год, достойная женщина сумела сделать свой дом лучшим в деревне: все у нее было так, как в замке графа Олтона, возвышавшемся на холме; и, конечно же, г-н Стифф, управляющий графа, собиравшийся жениться на богатой наследнице из Честерфилда, не имел белья белоснежнее и тоньше, столового серебра более тяжелого и более блестящего, кухонной утвари более массивной и лучше луженной, чем белье, столовое серебро и кухонная утварь достойной г-жи Смит.

Что касается дочери пастора, о ней можно было сказать только то, что это ангел мудрости, набожности и приветливости.

Все эти сведения увели меня весьма далеко от зелено-красно-белого домика.

Как же вернуться к разговору о нем после рассказов о замке графа Олтона, о доме, который был приготовлен г-ном Стиффом для своей супруги, о белье, столовом серебре, кухонной утвари доброй г-жи Смит и о мудрости, набожности и благожелательности мисс Смит?

Задача непростая, дорогой мой Петрус, особенно для меня, который, признаюсь, не склонен переходить с одной темы на другую.

Впрочем, я пребывал почти в дурном расположении духа, когда мне столь единодушно расхваливали дом г-на Смита, г-жу Смит, мисс Смит и не сказали ни единого слова о зелено-красно-белом домике, находившемся в трехстах шагах от нас, и о том очаровательном создании с золотистыми волосами, голубыми глазами и розовыми щечками, по сравнению с которым мисс Смит несомненно всего лишь обычная девушка.

Это дурное расположение духа заставило меня распрощаться с крестьянами и совсем хмурым возвратиться в Ашборн.

Увы, я издали увидел в темноте пасторский дом без единого огонька; никто не ждал меня на пороге; в кармане у меня лежал ключ, я открыл дверь и ошупью вошел в дом, пытаясь найти огниво и спички.

– Ах, бедный Уильям Бемрод! – воскликнул я со вздохом, когда мерцающий желтоватый свет заскользил по стенам пустой гостиной.

Остатки обеда стояли в шкафу для провизии, но у меня не хватило духа сесть за стол. Я поднялся в свою комнатку, держа лампу в одной руке и кусок хлеба – в другой.

Открыв окно, я пододвинул стул и сел.

На этот раз мой взгляд, минуя деревню, устремился прямо к огням, сиявшим на горизонте.

Среди всех этих огней я искал один – светившийся там, где стоял зелено-красно-белый домик.

Он затерялся среди огромного пространства ночной темноты, и чувствовалось, что там мирно царит ночь.

Однако я никак не мог решиться отойти от окна. Затем, разломив хлеб на куски, я с унынием съел их, ни на мгновение не сводя взгляда с той точки, куда он был устремлен.

Но вот отзвонили полночь, и, утратив всякую надежду увидеть свет в далеком окне, сосчитав все удары колокола, звон которых слетал с колокольни словно ночные птицы на бронзовых крыльях, я отошел от окна и лег спать.

Ночь моя была еще более беспокойной, чем прошедший день: меня сжигала лихорадка и одолевали бессвязные сны, я видел, как проходят передо мною, будто в тумане, все в белом, три дочери г-жи Снарт с венками увядших цветов на головах – они выходили из садовой калитки и удалялись по дороге в Уэрксуэрт...

И тут распахнулось окошко; моя незнакомка, с золотистым нимбом, с длинными белыми крыльями, склонилась над тремя покойницами; она возложила на их головы венки из васильков – такой же она на моих глазах поправляла на своей головке; затем три призрака удалились, мало-помалу бледнея, испаряясь, едва заметно колыхаясь над землей, и тихо, медленно поднялись к небу, подобные трем прозрачным облачкам...

Тогда мой взгляд, неотрывно следивший за ними до тех пор, пока они не растворились в эфире, вернулся к земле, чтобы вновь искать заветное окошко, но и оно, и весь домик – все исчезло!

На его месте я увидел бесформенное здание – наполовину церковь, наполовину надгробный памятник, – почти целиком погруженное в облако, над которым витал злато-волосый, голубоглазый, розовощекий ангел в белом платье, перетянутом лазурной лентой.

И во время всех этих превращений на самой высокой ветви самой высокой ивы пел соловей, и я видел его сквозь стены: для моих закрытых глаз материальные преграды ровным счетом ничего не значили.

Ночью я просыпался раз десять; раз десять, истомленный этим сновидением, я призывал все силы моего разума разорвать его, разбить, уничтожить; но едва только снова смыкались мои веки, едва только мое сознание погружалось в полутьму, как все разорванные фрагменты сновидения опять связывались между собой, как срастаются части змеи, и я снова играл свою роль в этом фантастическом мире, становившемся для меня миром живым и реальным.

Проснулся я с наступлением дня – от всего сновидения осталась только песня соловья, приветствовавшего зарю.

Его пение смолкло с первыми лучами солнца.

Можно было бы сказать, что дневной свет прогнал духов ночи.

Я чувствовал себя разбитым от усталости.

Встав, я прошел в кабинет; мне не потребовалась подозрительная труба, чтобы увидеть: далекое окошко было закрыто так же, как накануне.

Мой горизонт сузился до этого домика; не взглянув ни на что другое, я закрыл окно и сел за письменный стол.

В нем я нашел тетрадь белой бумаги, вполне готовую для моего великого творения, заглавие которого я уже написал, и ожидавшую только моей руки и пера; но каким же вычурным показалось мне в эту минуту заглавие, каким пустым – сюжет!

Пожав плечами, я отодвинул тетрадь: философия и философы внушали мне жалость.

В восемь утра я отправился в церковь, чтобы совершить утреннюю молитву.

Там были только женщины: мужчины на рассвете ушли в поле.

Я объявил, что на следующий день службы не будет, поскольку мне предстоит прочесть проповедь в Уэттоне.

Внимательно рассматривая женщин, а вернее девушек, я задал себе вопрос, найдется ли среди них хотя бы одна, которую мне хотелось бы сделать спутницей моей жизни, однако никто из них не соответствовал моему идеалу.

Некоторых я счел хорошенькими, но самые хорошенькие отличались вульгарностью и показались мне малообразованными.

Многие, уверен, стали бы превосходными хозяйками, и все же, полностью отвечая приземленным требованиям к женщине, ни одна не удовлетворяла бы духовных запросов, предъявляемых мужчиной к подруге, жене, своей второй половине.

Среди этих девушек я заметил дочь учителя, самую утонченную и самую хорошенькую из них.

Но между дочерью учителя и златоволосой незнакомкой, между сложением одной и грациозностью другой, между внешностью одной и личиком другой существовало такое же различие, как между пионом и розой, колокольчиком и лилией.

Однако, когда девушка снова пришла ко мне, чтобы приготовить обед, я, потому ли, что устал видеть окошко неизменно закрытым, потому ли, что маленькая моя экономка была и вправду хорошенькой и выигрывала при более близком и внимательном рассмотрении, я следил за всеми ее движениями, когда она сновала вокруг меня то ли по простоте душевной, то ли из кокетства – Бог весть почему! – и в конце концов подозвал ее и попытался завязать с ней беседу, но попытка оказалась плачевной и пошла лишь во вред бедной девушке.

Богу известно, дорогой мой Петрус, что с подобной женой я чувствовал бы себя еще более одиноким, чем наедине с самим собой!

Это несчастье возвышенных умов – их свойство смотреть на все только с высот духа и всегда выделять только то, что проступает на фоне Неба.

XV. Глава, являющаяся лишь продолжением предыдущей

Напрасно я почти безвыходно оставался в своей комнате, напрасно я через каждые десять минут подносил к глазам подзорную трубу – окно так и не открылось.

Что это могло означать?

Если бы моя незнакомка могла меня заметить или заподозрить, что я ее вижу, вполне естественно было предположить, что мои настойчивые попытки смотреть на нее оскорбили девушку; но она, вероятно, даже не подозревала о моем существовании, или же, если она знала, что в Ашборне есть новый пастор – а это было вполне вероятно после успеха моей проповеди, – она безусловно не ведала, что этот пастор разглядывает ее из своей комнаты, имея подзорную трубу, при помощи которой на расстоянии более чем двух миль предмет виден не менее четко, нежели невооруженным глазом на расстоянии ста шагов.

Не случилась ли с ней какая-нибудь беда?

О, если это так, почему она не посылает за ашборнским пастором?

Как он был бы рад утешить ее!

Какие мягкие, нежные, благочестивые слова нашел бы он для нее! Каким он показал бы ей Небо по сравнению с землей и самого Творца в начале и конце всего сущего!

Какое счастье было бы видеть, как эти прекрасные голубые глаза, наполненные слезами, и эти побледневшие щеки вновь приобретают под действием его увещаний: одни – свою безмятежность и ясность, другие – свою свежесть и розовый цвет.

Но это видение, мгновенно промелькнувшее перед моими глазами – не было ли оно просто моей грезой? Существо столь очаровательное, создание столь совершенное, как то, которое я увидел, могло ли оно обитать на земле? И не была ли колдовским инструментом подзорная труба моего деда, которая в определенные дни и в определенных условиях творит для своего хозяина фантастические образы, назначение которых – внушать ему жалость к реальному миру?

Увы, скорее всего, так оно и было: этим и объясняется столь настоятельный совет моей матушки, которая конечно же знала свойства этого талисмана, но не пожелала говорить о них, предвидя, что они если не сегодня, так завтра проявятся сами собой.

Беда только в том, что не наступил желанный день, не создались подходящие условия, потому-то подзорная труба не сотворила чуда и заветное окно осталось закрытым.

Настал вечер, и последние часы дня тянулись для меня невыносимо долго. Наконец, прозвонило восемь, я вышел из деревни Ашборн и направился к деревне Уэрксуэрт.

Поскольку час был более поздний, чем накануне, я рассчитывал, что дорога окажется пустынной.

В таком случае я добрался бы до маленького домика, и если бы на этот раз мне представилась возможность обратиться к кому-нибудь с расспросами, я бы ей воспользовался.

Делая очередной шаг, я надеялся разглядеть свет сквозь планки жалюзи, и в то же время с каждым моим шагом эта надежда угасала.

К окраине деревни я пошел напрямик по полю, но, когда я подходил к дому, путь мне неожиданно преградила шестифутовая стена, которую я сначала не заметил, поскольку она была скрыта в гуще деревьев.

Стена ограждала сад, и мне пришлось ее обогнуть.

Мой дорогой Петрус, Вы, такой великий философ, а вернее такой великий знаток философии, скажите мне, почему так сильно забилося мое сердце и почему так сильно задрожали у меня ноги? Ведь наша святая протестантская вера, вместо того чтобы обособить нас от общества, вместо того чтобы лишить нас собственной семьи, позволяет каждому из нас быть человеком, быть супругом, быть отцом. Так что же постыдного было в том, что я пришел к девушке,

которую увидел, к девушке, чье нежное личико так меня влекло?! Мои поступки походили на первые шаги, сделанные человеком в жизни, – та же неуверенность, та же робость; так же как ребенок, я вступал в неведомый мне мир и точно так же спотыкался в свете солнца.

Итак, я обошел стену: все окна дома были не только затворены, но еще и плотно закрыты ставнями.

Наконец я приблизился к фасаду – здесь стена уступила место решетчатой ограде.

Я проник взглядом сквозь эту ограду: через щели ставен в зале нижнего этажа дома просачивался свет.

Вся жизнь дома сосредоточилась в этом зале нижнего этажа – остальные помещения казались вымершими.

Быть того не могло, чтобы моя незнакомка находилась сейчас в доме: одно только ее присутствие оживило бы его, одушевило, осветило.

Ее уже нет здесь, она покинула свой дом, она уехала...

О, так оно и было, и как это я не догадался об этом раньше?

Теперь важно понять, как долго ее здесь не будет? Вернется ли она сюда однажды? Вернется ли вообще?

Но непотушенный свет в этом зале – уже не сама ли это надежда, не угасающая в нас до самой смерти?

Такие вопросы задавал я самому себе, когда услышал чьи-то приближающиеся шаги.

Конечно же, я не таил никакого злого умысла, когда бродил вокруг дома, и чувство куда более благочестивое и нежное, нежели любопытство, толкнуло меня просунуть голову в решетку ограды, и тем не менее при звуках шагов сердце мое охватил ужас.

Что скажут люди, когда узнают ашборнского пастора в человеке, прильнувшем к ограде одного из уэрксуртских домов между восемью и девятью вечера?

Так что мне пришлось поспешно удалиться, тем более поспешно, что, обернувшись, я увидел трех мужчин, направлявшихся в мою сторону.

Кроме того, мне показалось, что я слышу вдалеке стук колес.

Я ускорил шаг, уже не оглядываясь; у меня появилось чувство, подобное тому, какое должен испытывать человек, совершивший дурной поступок, а ведь Бог свидетель, что мое столь сильно колотившееся сердце оставалось чистым!

Так что же со мной происходило? Не влюбился ли я? Влюбился! Какое безумие! Влюбился в девушку, которую я видел, а вернее, разглядел через подзорную трубу на расстоянии в две мили!

В конце концов, я не мог об этом судить, поскольку не ведал, что такое любовь.

Я поспешил возвратиться в пасторский дом и, не зажигая ни лампы, ни свечи, оцупью пробрался в кабинет, чтобы предаться своим переживаниям, и там упал в кресло.

Окно мое оставалось открытым, я посмотрел вдалеку и невольно вскрикнул.

С правой стороны, там, где должно было находиться, окно моей незнакомки, сиял свет, сиял там, где совсем недавно все тонуло в непроглядной тьме.

Ночь выдалась такая темная, что я даже при помощи подзорной трубы не мог разглядеть ничего, кроме этого света.

Однако он мог просто померещиться мне; надо было дождаться завтрашнего дня, чтобы обрести уверенность.

По-прежнему не зажигая ни лампы, ни свечи, я спустился в свою комнату и лег спать; мне хотелось поскорее заснуть и благодаря сну побыстрее прожить эту ночь, отделявшую меня от истины.

Однако не спит тот, кто хочет заснуть: этот столь страстно призываемый мною сон казался еще более неуловимым, чем его свита из сновидений, и явился он только глубокой ночью, но не коснулся моих глаз, а камнем лег на мое сердце.

Не стану даже пытаться рассказать Вам о сновидениях этой второй ночи, дорогой мой Петрус; они являли собой нечто подобное злключениям Луция:²¹⁵ из сочинения Апулея²¹⁶ вся дорога кишела колдуньями, гарпиями,²¹⁷ ларвами,²¹⁸ которых мне приходилось обозревать; у меня кровоточили раны, которые мне нужно было залечить и которые то и дело вновь открывались; а вместо нежной соловьиной песни мне слышались зловещие крики ночных хищников.

Как я дотянул до шести утра в этом тяжелом, изнурительном сне, я не знаю; но что я знаю твердо, так это то, что, когда я проснулся, было уже очень светло.

О, какая это была ночь, дорогой мой Петрус! Когда я открыл глаза, мне показалось, что я из ада попал на Небо.

Первое, что пришло мне в голову, была мысль о просочившемся сквозь щели ставен свете, который я увидел накануне; но моя минувшая ночь оказалась такой лихорадочной и полной волнений, что я и в самом деле не мог отличить реальность от сновидения.

Я сказал себе, что свет мне просто померещился и что не надо раньше времени поддаваться радости, способной исчезнуть, как только к ней прикоснешься, и, чтобы убедиться в собственном самообладании, решил одеваться медленно, не забывая ни об одной детали моего обычного утреннего туалета.

Затем я вышел из спальни, пересек столовую, неспешно поднялся по лестнице в кабинет и, вместо того чтобы подойти к окну, сел в кресло перед письменным столом.

И только тогда я позволил своему взгляду переместиться в сторону окна. Невооруженным взглядом едва можно было различить предметы на таком расстоянии, однако сквозь прореху в моей занавеске, словно специально проделанную для того, чтобы пропустить мой взгляд, я вроде бы увидел темную дыру на месте зеленых жалюзи.

Я схватил подозрную трубу, которую накануне не сложил, и, открыв окно, приставил ее к глазу.

О какое счастье! Жалюзи были подняты, клетка находилась на прежнем месте, а в клетке сидела птичка!

Однако мне показалось, что в комнате никого не было.

Ну и что же? Разве та, что жила в ней, не могла встать и выйти?

Не в пример мне, в шесть утра еще никто не проснулся, никто еще не занимался своим утренним туалетом.

О, как я жалел обо всем этом напрасно потерянном времени!..

Я радостно вскрикнул и ни о чем уже не сожалел.

Девушка только что вернулась к себе в комнату; я увидел, как она прошла в середину комнаты, вероятно от двери к камину, и узнал ее!

Вскоре у меня не осталось и тени сомнений на этот счет; она приближалась к окну, и я видел ее все отчетливее и отчетливее по мере того, как она вступала на освещенное солнцем место.

Одета она была во все белое, как и в прошлый раз; как и тогда, ее стан охватывала голубая лента.

²¹⁵ Луций – главный персонаж романа Апулея «Метаморфозы»; вследствие колдовства у него появились ослиные уши, но после многочисленных приключений к нему вновь вернулся человеческий облик.

²¹⁶ Апулей (ок. 125 – ок. 180) – древнеримский писатель, адвокат и философ, писавший на греческом и латинском языках; автор авантюрно-аллегорического романа в 11 книгах «Метаморфозы» (или «Золотой осел»), в котором перед читателем открывается широкая панорама быта и нравов римских провинций.

²¹⁷ Гарпии – чудовища греческой мифологии, дочери морского божества Тавманта и нимфы океана Электры, полуженщины-полуптицы отвратительного вида, близкие к зловещим стихиям; они враждебны людям и ненавистны им; число их в разных вариантах мифа колеблется от двух до пяти.

²¹⁸ Ларвы – по представлениям древних римлян, злые духи или души умерших, которые являются на землю, преследуют людей или, поскольку их порой отождествляли с божествами мертвых, мучают грешников в подземном царстве.

Только лицо ее было еще более свежим и розовым, а ее золотистые волосы, когда их развевал утренний ветерок, казались еще светлее.

Незнакомка открыла клетку и выпустила на волю свою птичку.

Но та из благодарности сначала посидела на плече девушки, затем минуту поиграла ее кудрями; потом перелетела на самый кончик ветки и сидела там, покачиваясь.

У девушки в руке была роза; бросив ее птичке, она прошла через комнату и исчезла.

Колокольный звон позвал меня в церковь; там я вручил Господу сердце, полное радости и благодарности, и в молитве попросил ниспослать мне завтра вдохновение.

Я стал искать нужную для проповеди цитату из Писания, и она пришла мне в голову: уж не Бог ли внушил ее мне или я просто нашел ее в кругу моих раздумий в последние два или три дня?

И Господь сказал Рахили:

«Ты оставишь отца твоего и мать твою и последуешь за мужем твоим».²¹⁹

Возвратившись домой, я прежде всего прошел в кабинет, и сразу же мой взгляд устремился к заветному окну.

Оно все еще оставалось открытым, но в комнате никого уже не было.

Правда, я два или три раза видел, как там появлялась моя незнакомка, но появлялась она очень ненадолго и выглядела озабоченной, словно уже произошло или должно было произойти сегодня вечером или завтра днем какое-то значительное событие.

Для меня же таким значительным событием явилось возвращение моей незнакомки; я бросил взгляд на мою бедную маленькую домоправительницу, дочь школьного учителя, и спросил себя: как я мог хотя бы на минуту заинтересоваться этой девушкой?

Вечером моя незнакомка показалась мне более спокойной: она простояла у окна до тех пор, пока не исчез дневной свет и не наступила ночь.

Солнце садилось в пурпур и золото; она ни на мгновение не отрывала от него глаз вплоть до той минуты, когда его поглотил этот сияющий океан.

Тогда, будто после подобного зрелища уже ни на что в мире не стоило смотреть, девушка отошла от окна, опустив жалюзи.

И, словно после ее исчезновения уже ничто не стоило моего взгляда, я тоже закрыл свое окно.

О, какой мягкой и тихой оказалась эта ночь! Вместо жуткого кошмара минувшей ночи меня посетили чудные сновидения, и слышал я не крик совы или орлана,²²⁰ а пение соловья, до зари звучавшее над моим ухом.

Потому-то я и проснулся на заре.

Я обещал быть у г-на Смита в восемь утра; оделся я как можно лучше и причесался как можно красивее.

К несчастью, гардероб мой был посредственным, и вместо элегантных париков, какие носили тогда молодые люди, мою голову украшали мои собственные кудри.

Не сказал бы, что это выглядело непривлекательно; но, быть может, моя незнакомка придерживалась бы на этот счет иного мнения.

Что меня утешило бы, если бы я с ней встретился, а это в конце концов могло произойти, – повторяю, что меня утешило бы, так это следующее обстоятельство: вместо того чтобы делать себе прическу так, как было принято в это время, – в виде приподнятого и напудренного шиньона, она не пудрила волосы, а просто заплетала их в косы и оставляла свободно спадающие букли.

²¹⁹ Подобных слов в Библии найти не удалось.

²²⁰ Орлан – крупная хищная птица из рода ястребиных; распространен по всему миру, кроме Южной Америки; живет по берегам морей, крупных рек и озер; питается рыбой.

Впервые в жизни я уделил внимание собственной наружности, дорогой мой Петрус; до этих пор она меня ничуть не занимала, и, право, мне трудно было бы сказать, хорош ли я собой или дурен.

Теперь я с радостью, к которой примешивалась гордость, увидел, что лицо у меня скорее приятное.

И правда, смоляные волосы, которые я стыдился выставлять напоказ, были необычайно тонки и от природы вились; большие глаза отличались синевой и выразительностью взгляда, а над ними, словно арки, изгибались черные брови; нос прямой, рот крупный, зубы чуть великоваты, зато удивительной белизны; фигура стройная, а рост выше среднего...

К тому же, снимая с пальца обручальное кольцо моей матери, которое я всегда носил, я заметил, что рука у меня довольно белая, а надевая башмаки, убедился, что стопы у меня хотя и длинные, но узкие.

Все это в целом, да еще в придачу приход, приносивший девяносто фунтов стерлингов в год, делали из меня мужчину, которым не следовало пренебрегать родителям девиц на выданье, мужчину, вполне подходящего для молодой девушки.

Я поднялся в мой рабочий кабинет, чтобы бросить взгляд на окно моей незнакомки.

Окно было открыто, но комната казалась безлюдной.

Прозвонило семь утра.

Мне не понадобилось бы и часа, чтобы пройти две мили, отделявшие Ашборн от Уэрксуэрта; но выбирая, как прийти: на четверть часа раньше или на четверть часа позже, – я счел за лучшее прийти на четверть часа раньше.

Чем дальше я продвигался по дороге, тем отчетливее видел домик, и каждую минуту мне казалось, что вот сейчас появится моя незнакомка; но, наверное, она была занята в какой-нибудь комнате дома, поскольку я ее так и не увидел.

На этот раз я не нуждался в подзорной трубе, чтобы видеть все: перед моими глазами поочередно возникали пустая клетка, белые занавеси над кроватью, обои в разводах на стенах.

В ту минуту, когда я проходил около стены, окружавшей сад и помешавшей моим вчерашним ночным наблюдениям, с верхушки садового дерева слетел щегол и, сев на придорожном клене рядом со мной, принялся петь, словно желая приветствовать меня от имени своей хозяйки.

Но вот я миновал домик; я не осмелился слишком долго смотреть через решетку и все же отважился бросить взгляд на окно... но занавеси были опущены.

Вероятно, изнутри можно было в просветы между ними видеть происходящее снаружи, но с улицы точно не удавалось рассмотреть, что происходит в комнатах.

Я не знал, как найти жилище г-на Смита; но, по обыкновению, пасторский дом соседствует с церковью; дойдя до нее, я обратился с вопросом к человеку, которого принял за ризничего.

Человек этот и в самом деле был ризничим; он осведомился, не ашборнский ли я пастор, и, услышав мой утвердительный ответ, пояснил:

– Господин Смит послал меня сюда встретить вас, ведь он забыл вам сказать, что живет он не возле церкви, а, наоборот, весьма от нее далеко.

– В таком случае, друг мой, будьте добры, укажите мне дорогу к нему.

– Можно сделать лучше, господин пастор: с вашего позволения, я вас туда провожу. Господин Смит велел ждать вас на дороге, чтобы вам не пришлось проделать лишний путь; однако вас ожидали только к восьми.

В эту минуту прозвонило без четверти восемь.

– Вы правы, друг мой, – согласился я. – Тут нет вашей вины: это не вы опоздали, а я пришел раньше времени. Так что идите впереди, а я пойду за вами.

Мой провожатый направился по дороге, по которой я уже проходил, и я последовал за ним.

XVI. Жена и дочь пастора Смита

Как уже было сказано, я проходил часть деревни по пути к церкви, так что сначала мне не слишком была интересна дорога, по которой меня повел мой провожатый.

Но, поскольку постепенно дома встречались все реже, а впереди наконец остался только один домик, и он оказался зелено-красно-белым, то есть домиком моей незнакомки, я остановил моего провожатого:

– Друг мой, куда вы меня ведете?

– Туда, куда вы и должны идти, – откликнулся он, – к пастору Смигу.

– Так пастор Смит живет в этом доме? – спросил я, побледнев.

– Да, сударь, – подтвердил ризничий. – Это собственность его жены, и пастор поселился там после женитьбы.

– И у пастора Смита есть дочь? – спросил я не без колебаний.

– Да, господин.

– Блондинка... лет восемнадцати-девятнадцати?

– Это так... Святая девушка, скажу я вам!

– О Боже мой! – прошептал я, покачнувшись.

– Что с вами, господин пастор? – встревожился мой провожатый. – Похоже, вам стало плохо.

– Ничего... Просто потемнело в глазах, – поспешно ответил я. – Пойдемте!

И я сам сделал шаг к домику и протянул руку к дверному молотку.

Но в этот миг дверь открылась и я увидел улыбающееся лицо достойного г-на Смита.

– Прекрасно! – воскликнул он. – Вот и вы! Быть точным – это замечательно... Но что с вами? Сдается мне, вы побледнели и дрожите.

Я успокоил его улыбкой и пожатием руки, ибо боялся, что стоит мне заговорить, как мой срывающийся голос выдаст мои чувства.

Мой провожатый ответил за меня:

– Ах, не знаю, по правде, что это произошло с господином пастором в двадцати шагах отсюда: он вдруг побледнел, и можно было подумать, что ему стало плохо.

– Как! Стало плохо?! – вскричала г-жа Смит, появившаяся за спиной супруга. – Смит, иди-ка скорей в аптеку, купи мелиссовой²²¹ настойки, настойки на померанцевом²²² цветку и сахара, а я пока провожу господина Бемрода в гостиную... Ну, иди же! Иди же!

Я хотел остановить г-жу Смит, но это было невозможно: она подтолкнула мужа одной рукой, а другой взяла меня и повлекла в дом.

В гостиной она усадила меня в кресло и открыла окно в сад, чтобы я мог дышать свежим воздухом.

Делая все это, она беспрестанно говорила, расспрашивала меня, сама отвечала на свои вопросы, задавала новые и тоже сама отвечала на них.

Пастор вернулся через пять минут, держа в руке пузырек с приготовленной микстурой.

Госпоже Смит хватило этих пяти минут, чтобы сообщить мне, что ее мужу уже пятьдесят два года, а ей всего тридцать девять, что у нее есть дочь, которой нет еще и девятнадцати лет, что эта дочь хороша собой, что она поет, играет на клавесине, рисует и благодаря своему

²²¹ Мелисса – травянистое растение, содержащее эфирное масло с запахом лимона, используемое в парфюмерии и как пряность.

²²² Померанцевое дерево (бигардия) – горький по вкусу апельсин, вечнозеленое растение; цветы и листья его содержат эфирные масла.

счастливому характеру еще в большей мере, чем своей красоте и своим дарованиям, непременно составит счастье будущему супругу.

На этой последней фразе своей жены в гостиную вошел г-н Смит, и я заметил, что он пожал плечами, тем самым давая понять, что подобная похвала всегда подозрительна в устах матери.

И правда, как бы я ни был заранее расположен к моей прекрасной незнакомке, я предпочел бы, чтобы г-жа Смит ничего не говорила о ней и позволила мне самому оценить столь восхваляемое ею совершенство.

Как ни пытался я уверить г-жу Смит, что дурнота у меня прошла, если только это была дурнота, она заставила меня выпить стакан воды, приготовленной ее супругом.

– Ну вот!.. Теперь наш дорогой сосед господин Бемрод полностью пришел в себя, – заявила она. – Ведь теперь вы не чувствуете недомогания, не так ли, господин Бемрод?

Я кивком подтвердил, что чувствую себя превосходно.

– Прекрасно! Пора представить гостю нашу дорогую Дженни, не правда ли, друг мой? – продолжала г-жа Смит.

– Но, моя хорошая, – заметил г-н Смит, – наша дорогая Дженни и сама прекрасно представится... Мне кажется, ты придаешь девочке больше значения, чем она того заслуживает.

– Как это – больше значения, чем она того заслуживает?! Как это – девочка?! – возмутилась г-жа Смит. – Дженни уже взрослая, ей девятнадцать, мой дорогой господин Бемрод, и она уже отказалась от очень хороших партий, можете мне поверить.

– И я вам верю, моя дорогая госпожа Смит, – сказал я, улыбаясь.

– Тише, тише! – попросила она. – Ведь я уже вижу мою дорогую дочку, а она так хорошо воспитана, что краснеет от одного только слова «замужество», произнесенного в ее присутствии!.. Иди же к нам, дитя мое, иди!

И тут в зал вошла мисс Дженни Смит, хотя вернее было бы сказать, что ее ввела мать.

Я ожидал увидеть мою незнакомку в большой соломенной шляпке, украшенной васильками, увидеть ее золотые волосы, ее розовые щечки, ее белое платье и голубой пояс, стягивающий стан, гибкий как тростник.

Ничего подобного: вошедшая девушка была гладко причесана, на щеках ее лежали белила и румяна, на ней было вышитое платье из полосатого шелка, нижняя часть ее стана была словно зажата в тиски, а вся остальная часть ее фигуры терялась в огромных фижмах.

Тем не менее передо мной стояло весьма очаровательное создание, наряженное по последнему слову моды, тут спорить не приходилось, но – увы! – это была уже не та незнакомка, которую я видел из моего окна.

Из всего того, чем я в ней любовался, теми же остались только ее прекрасные глаза: прекрасные голубые глаза – это было единственное, чего искусству никак не удалось испортить.

– Ах, Боже мой! – воскликнул г-н Смит, взглянув на дочь. – Да кто же это так тебя вырядил, моя бедная дорогая Дженни?

– Кто ее так вырядил?! – воскликнула г-жа Смит. – Да я!

– Господи Иисусе! – воскликнул пастор. – По какому же это поводу, дорогая женошка?

– Да по тому поводу, что это модно.

– Да что делать моде с такими бедными деревенскими жителями, как мы с тобой, дорогая моя Августа?! Мода хороша для горожан и вельмож из родовых замков...

– Мой дорогой господин Смит, занимайтесь лучше вашими проповедями – у вас они получаются очень красноречивыми, хотя говорят, что господин Бемрод сочиняет их еще лучше, чем вы, а нам уж позвольте заниматься своими туалетами.

– Что ж, занимайтесь своими туалетами; но, во имя Неба, не уродуйте ваши фигуры и ваши лица! Ах, бедная моя Дженни, – продолжал пастор, – как же тебе должно быть не по себе в подобном корсете, тебе, привыкшей чувствовать себя свободно, как пчелка или птичка!

Наверное, ты сама видишь, как ты некрасива под подобной маской, ты, которая не пользовалась никакими притираниями, кроме майской росы!

– Учтите, мой дорогой господин Смит, – не сдавалась жена пастора, раздраженная насмешливыми замечаниями своего супруга, – учтите, что благодаря нашей недавней поездке в Честерфилд Дженни сегодня носит как раз такой же наряд, в каком будет мисс Элизабет Роджерс в тот день, когда она, став супругой господина Стиффа, будет представлена господину графу и госпоже графине Олтон.

– Все это, дорогая моя, ни о чем мне не говорит, – продолжал добряк-пастор, начинавший выказывать признаки нетерпения. – Для чего это вдруг сегодня понадобилось так вырядиться нашей Дженни, которой вряд ли выпадет удача стать супругой господина управляющего Стиффа и которая вряд ли будет иметь честь быть представленной господину графу и госпоже графине Олтон?

Во время этого диалога мисс Дженни Смит стояла весьма смущенная и покрасневшая ярче своих румян; но, видя, что на безоблачном горизонте семейства грозит появиться облачко, она прервала спор:

– Дорогой отец, – сказала она, сплетя пальцы рук, – ради Бога, не настаивайте: разве вы не видите, что огорчаете матушку, а ведь она по доброте своей два часа занималась моей особой!

– Ах, дорогое мое дитя, да, я понимаю, – согласился г-н Смит, слегка пожав плечами. – Подойди, поцелуй меня!

Затем, повернувшись ко мне, он сказал:

– Мой дорогой сосед, уверяю вас, в иные дни бедная девочка бывает красива.

– Отец!.. – пробормотала Дженни.

– Хорошо, хорошо, – примирительно произнес пастор, – не будем больше об этом говорить... Лучше садись... если сможешь.

Дженни отвернулась, чтобы смахнуть пальчиком слезинку, блеснувшую на реснице, и, выбрав самое широкое кресло, не без труда села в нем.

Что касается пастора, безусловно понимавшего, как мне неловко присутствовать при этой маленькой семейной сцене, то он повернулся ко мне и задал несколько вопросов по теологии.

Он попал в самую точку, дорогой мой Петрус: Вы знаете, теология – мой конек, да и пастор Смит в ней был сведущ, так что уже через минуту наша беседа стала небезынтересной.

Однако она не целиком поглощала мое внимание: дело в том, что я хотел понять намерения миссис Смит относительно будущего ее дочери и потому следил за всеми ее действиями.

А все ее действия преследовали одну-единственную цель: продемонстрировав достоинства внешности мисс Дженни, она старалась мне доказать, что эти достоинства отнюдь не исчерпывают богатство ее натуры и что человека, женившегося на ее дорогой дочери, помимо приданого, о котором ею ничего не было сказано, ждет, вероятно, полное домашнее обзаведение.

Обо всем этом свидетельствовала та заботливость, с какой г-жа Смит заранее расположила чашки, салфетки, чайник прелестного китайского фарфора и, хотя нас было только четверо, целую дюжину серебряных ложек на чайном столике, которым мы могли воспользоваться только после проповеди.

Кроме того, два или три раза она открывала один за другим два небольших шкафа орехового дерева, доверху заполненных бельем, которое, несмотря на свой серый цвет с коричневым оттенком, выглядело весьма тонким.

Все эти действия не ускользнули от моего внимания, а тем более от внимания г-на Смита.

Это настолько его озаботило, что он неожиданно прервал нашу дискуссию и заявил:

– Мой дорогой сосед, я решительно склонен думать, что, вместо такого же как я сельского священника, я вижу перед собой князя Церкви, путешествующего инкогнито.

Жена моя догадалась об этом, несмотря на ваше переодевание, – вот почему она заставила дочь нарядиться подобно принцессе, вот почему она извлекает из ящика дюжину наших серебряных ложек, единственных, какими мы обладаем; вот почему, наконец, она показывает вам все это чудесное белье, сшитое ею собственноручно; однако, несмотря на угары тщеславия, которые ее охватывают при таких значительных событиях, как ваш приход, моя дорогая госпожа Смит – превосходная хозяйка.

– Ничуть в этом не сомневаюсь, сударь, – откликнулся я, – но скажите, не пора ли нам отправиться в деревню Уэттон, где мне предстоит прочесть проповедь?

– О, – воскликнула г-жа Смит, – в вашем распоряжении еще целых полчаса!.. Дженни, найди свой молитвенник; надеюсь, ты не упустишь случая послушать прекрасную проповедь, которую прочтет господин Уильям Бемрод, с тем чтобы по возвращении иметь основания сделать ему комплимент.

Мисс Дженни, явно обрадованная такой возможностью выйти из комнаты, поспешила покинуть кресло и пошла за своим молитвенником.

Тогда произошло то, что я предвидел: едва девушка закрыла за собою дверь, как ее мать, только и ожидавшая такого случая, чтобы продолжить расхваливать дочь, стала превозносить хозяйственность Дженни, а также ее дарования в живописи, музыке, вышивании, шитье и кулинарии.

Что касается меня, я начал кое-что замечать, а именно: добрая г-жа Смит, несомненно догадываясь о моем намерении жениться, зная о деньгах, которые сулит Ашборнский приход, и прежде всего желая выдать дочь замуж поблизости от родного дома, замыслила, дорогой мой Петрус, сделать Вашего покорного слугу своим зятем.

«Так оно и есть, – сказал я себе. – Отсюда этот ошеломляющий туалет, удививший даже добряка Смита; отсюда показ серебряных ложек и белья; отсюда, наконец, уход мисс Дженни, уход, конечно же, заранее продуманный матерью и дочерью, с тем чтобы в отсутствие дочери мать имела возможность поговорить обо всех ее достоинствах; неплохо разыграно, дорогая госпожа Смит, неплохо!»

И Вы, дорогой мой Петрус, знающий меня, знающий, как я восстаю против всего, что мне пытаются навязать, Вы должны понять, что, чем больше г-жа Смит расхваливала мисс Дженни, тем более я из-за своего злосчастного духа противоречия был склонен видеть в девушке те или иные недостатки.

Вероятно, благодаря своему превосходному чутью порядочного человека, стоящего дороже всех умственных хитросплетений, достойный г-н Смит догадался об этом, ибо он, улыбаясь, чтобы скрыть нетерпение, сказал жене:

– Но, дорогая моя Августа, я действительно что-то не узнаю твой душевный облик, как не узнаю физический облик Дженни... Какого бальзама ты выпила, какую приняла панацею, по какой дурманной траве прошла сегодня, что эта бедная Дженни, в которой ты обычно находишь столько недостатков, стала сегодня утром просто безупречной?

– Я? Недостатки у Дженни?! – воскликнула, покраснев, г-жа Смит. – Не знаю, откуда вы это взяли. Всякие мелочи, пустяки – и не больше! Ведь, в конце концов, за месяц, за полгода, даже за целый год я не нахожу порой повода сделать Дженни хоть одно какое-нибудь серьезное замечание.

– Но заметь, пожалуйста, мой дорогой друг, – продолжал г-н Смит со своей мягкой улыбкой, не лишенной, однако, насмешливости, – заметь, пожалуйста, что я вовсе не браню тебя за то, что ты сегодня нашла Дженни совершенной, помня, что не раз и не два в отсутствие бедного нашего чада, когда мы оставались только вдвоем, я, напротив, упрекал тебя за то, что ты к ней несколько сурова.

«Хорошо, – подумал я, – теперь пришла очередь отца; комедия показалась мне отлично разученной, а роли удачно распределенными».

Но добрая г-жа Смит была не из тех, кто оставляет упрек без ответа; она оказалась столь чувствительной к тому, что слетело с уст ее супруга, что на мгновение забыла свою роль и соответствующую реплику.

– Сурова?! – вскричала она. – Сурова к нашему ребенку?! И это сказано потому, что я всегда ей внушаю бережливость, милосердие, сострадание, простоту...

– Я сказал о тебе, друг мой, сурова, потому что ты хочешь, чтобы твоя дочь – а она всего лишь дитя – обладала всеми качествами в той же самой превосходной степени, какими обладаешь ты, жена и мать. А предоставь нашей Дженни двадцать лет супружества, любящего мужа, ребенка, такого же, как она сейчас, и Дженни будет таким же, как и ты, моя дорогая Августа, образцом для жен и матерей.

Затем, повернувшись ко мне, он добавил:

– А теперь, мой дорогой собрат, в путь, поскольку времени у нас как раз столько, чтобы пройти нужных полмили.

– Но, – воскликнула г-жа Смит, – разве мы не подождем дорогую Дженни?!

– Эта дорогая Дженни в нас не нуждается, ведь у нее есть мать... Пойдемте, мой дорогой Бемрод, пойдемте!

И, выйдя первым, он показал мне пример.

Я попрощался с г-жой Смит и поспешил вослед этому достойному человеку. В ту минуту, когда дом Смитов исчез из виду, я обернулся и увидел, что мисс Дженни, зажав под мышкой молитвенник, следует за нами вместе с матерью. Не знаю почему, я ускорил шаг, чтобы женщины не смогли к нам присоединиться.

XVII. Я вновь обретаю мою золотоволосую незнакомку с ее соломенной шляпкой, розовыми щечками и белым платьем, перетянутым голубой лентой

Да нет, мне было понятно, дорогой мой Петрус, почему я ускорил шаг, чтобы женщины не смогли к нам присоединиться.

Дело в том, что мои иллюзии насчет моей прекрасной незнакомки развеялись.

Дело в том, что я прекрасно видел не только материнский, но и отцовский расчет там, где надеялся найти прежде всего чистосердечность.

Дело в том, наконец, что я хотел сам выбрать себе жену и никак не желал, чтобы мне ее навязывали.

Мы прошли дорогу от Уэрксуэрта до Уэттона, не обменявшись даже тремя-четырьмя словами; г-н Смит уважал мое молчание, безусловно полагая, что я обдумываю проповедь.

Ничего подобного: я думал о моей незнакомке.

О моя незнакомка! Если бы я обрел ее такой, какой видел прежде – с ее развевающимися волосами, с ее цветами, с ее птичкой, с ее ясным взглядом, с ее простодушием, с ее грациозностью, наконец, какие я приписывал ей в горячке своего сердца, в безумии своего воображения! Если бы ее родители, вместо того чтобы навязывать ее мне, выждали бы, когда я сам проявлю к ней внимание, а ей дали бы время полюбить меня, и с той патриархальной простотой, какую всегда ищут и никогда не находят, сказали бы мне:

«Вы бедны, дорогой господин Бемрод, и также бедна наша дочь; но вы оба молоды, но вы любите друг друга; объедините вашу бедность, и любовь превратит ее в богатство».

О, если бы они сказали мне это, с какой радостью я встретил бы Дженни, с какой радостью я взял бы ее руку в свою, с какой гордостью я ввел бы ее в мой ашборнский домик, попросив у ее родителей только ту соломенную шляпку, то белое платье и тот голубой пояс, в которых она предстала передо мною и от которых, по крайней мере в моей памяти, она была просто неотделима!

Но все шло совсем не так, как я надеялся, и Дженни, вместо того чтобы идти рядом со мной, свободная, радостная, легкая, шла поодаль за нами в замешательстве, опечаленная и на каждом шагу спотыкавшаяся из-за своих высоких каблучков.

К церкви мы подошли на десять минут раньше, чем дамы.

Она была полна людей, и я видел, что меня ждали с нетерпением; но, признаюсь Вам, дорогой мой Петрус, что моя проповедь представлялась мне делом второстепенным, и я, поглощенный пережитым разочарованием, не придавал ей большого значения.

К счастью, именно в том случае, когда мне приходится прилагать меньше всего усилий для достижения желаемого результата, я прихожу к нему обязательно.

Выбранная мной цитата из Писания была вполне хороша: речь в ней шла о великом эгоизме природы, которая, всегда и неизменно глядя только вперед и нуждаясь прежде всего в том, чтобы поколения следовали за поколениями, говорит юной супруге гласом Всевышнего:

«Ты оставишь отца твоего и мать твою и последуешь за мужем твоим».

Вот поэтому-то Бог, заранее предвидящий все на свете, одарил отцов и матерей огромной любовью к детям; дети же, вовсе не будучи неблагодарными, поскольку они повинуются намерениям Господа, испытывают к родителям совсем не такую сильную любовь, какую родители испытывают к детям.

Скажите матери:

«Ты оставишь дочь твою», пусть даже ради самого святого долга, и мать не станет повиноваться, ведь ее дитя, выношенное в ее утробе и вскормленное ее молоком, ей дорого вдвойне.

Скажите дочери:

«Ты оставишь мать твою и последуешь за мужем твоим», и она повинуется с улыбкой и пойдет вместе с тем, кто, словно розу, сорвет ее, проходя мимо, и поставит в свою бутоньерку или прикрепит к шляпе, оставив розовый куст осиротевшим и унеся вместе с цветком и его аромат.

Я имел большой успех, я заставил всех матерей плакать, а детей – улыбаться.

И, однако, два обстоятельства весьма и весьма меня беспокоили.

На кафедру я поднялся за несколько секунд до начала проповеди, так что у меня была возможность бросить взгляд на моих слушателей, ожидавших – кто с большим, кто с меньшим нетерпением, кто с большим, кто с меньшим любопытством – минутой, когда я заговорю.

Среди слушателей я увидел Дженни с ее матерью: мать сидела как раз напротив меня, а дочь, естественно, рядом с ней.

Как только девушка вошла в церковь, всякая стеснительность, всякая озабоченность, всякая неуместная стыдливость покинули ее, уступив место мягкому и высокому подлинному благочестию; ее не обеспокоил даже некоторый ропот, вызванный ее одеянием, чересчур изысканным для посещения церкви; и, словно поняв, что под раззолоченным покровом Господь увидит чистое сердце, она на мгновение подняла свои глаза, затем опустила их к своему молитвеннику и в дальнейшем не отрывала взгляда от книги.

Началось пение; если девушка читала молитвы сидя, то для пения она встала.

И тут сразу открылись ее глаза и уста – глаза для благочестия, а уста – для гармонии; в эти минуты, казалось, девушка забыла все – землю во имя Неба, людей – во имя ангелов; в эти минуты среди других голосов выделялся ее голос, прозрачный и неземной; казалось, ее слова обретали крылья и, единственные среди других слов, они взлетают в эфир и теряются в бесконечности.

Я вспомнил, что мать Дженни хвалила ее как хорошую музыкантшу; но то, что сейчас исходило от девушки, было чем-то большим, нежели музыка, – это было нечто простое и вместе с тем великое, как пение птицы, как шум листвы, как голос самой природы, наконец, непохожий на пение человека.

Вся эта гармония лилась с ее уст без усилий и без усталости; только ее голова, чуть склоненная к плечу, словно ее шея, как у лебедя, была слишком длинной и гибкой, чтобы прямо держать голову, – так вот, только ее голова, чуть склоненная к плечу, придавала ее позе невыразимое изящество, а ее лицу – пленительное очарование, и длилось это ровно столько, сколько длилось пение: ее голос, нежное дыхание ее души, запевший вместе с другими, умолкнув вместе со всеми, как только умолкли они, поднявшись в простоте молитвы и затихнув в величии веры.

Затем она вновь села так же просто и бесшумно, как встала, не догадываясь о том, что внесла божественную ноту в человеческий хор.

Теперь наступила моя очередь.

При первых же произнесенных мною словах ее прекрасные голубые глаза подняли свой взгляд на меня и уже его не отрывали; однако я без труда заметил, что она смотрела не столько на человека, сколько на проповедника, которого она слушала глазами, словно ушей было для нее недостаточно, словно она понимала: сказанное устами может исходить только от ума, а сказанное глазами несомненно исходит от самого сердца.

Признаюсь, что увиденное и услышанное мною несколько примирило меня с мисс Дженни.

Поэтому, окончив проповедь, я решил предложить девушке руку при возвращении в Уэрксурт, хотя, быть может, дорогой мой Петрус, только ради того, чтобы узнать ее мнение о моей проповеди.

Но, пока я на несколько минут задержался в ризнице, мисс Дженни ушла вместе с матерью.

В ризнице я увидел г-на Смита, ожидавшего меня там и похвалившего меня столь искренне, что нельзя было приписать ему задние мысли; у двери, разделявшей ризницу и церковь, я встретил почти всех моих слушателей, тоже ожидавших меня, чтобы поздравить с успехом.

Вы согласитесь, дорогой мой Петрус, то был триумф; но почему же он казался мне неполным?

Дело в том, что этому триумфу недоставало одного голоса, голоса, столь чистого, что остальные, как мне представлялось, поздравили меня от имени земли, а он, наверное, мог бы поздравить меня от имени Неба.

Итак, я вернулся в Уэрксуэрт снова только в обществе г-на Смита и еще более молчаливый, чем по пути в Уэттон.

На этот раз меня не могли извинить мысли о предстоящей проповеди, и, однако, добрый пастор Смит предоставил мне полную возможность предаваться моим грезам.

Да, моим грезам, дорогой мой Петрус, поскольку я поневоле грезил о ней: в облике Дженни, искаженном ее матерью, я мало-помалу снова узнавал мою незнакомку, увиденную мною в окне, и все же я покачал головой и сказал себе: «Нет, нет, никогда!»

Мы вернулись в дом.

Госпожа Смит и ее дочь ждали нас в гостиной; г-жа Смит сразу же стала хвалить мою проповедь.

Дженни не произнесла ни слова.

Думаю, дорогой мой Петрус, все похвалы ее матери я отдал бы за одно-единственное критическое замечание дочери: по крайней мере, у меня появился бы повод обратиться к ней, дать ей ответ, поспорить с ней.

Ее молчание приводило меня в отчаяние.

Объявили, что завтрак подан.

Я сел за стол рассерженный.

Если бы я не видел, что глаза Дженни от начала до конца проповеди внимательно смотрят на меня; если бы в те минуты, когда я говорил о той легкости, с какой дети покидают тех, кто произвел их на свет, если бы в эти минуты я не видел, как одной рукой дочь ищет руку матери, а другой смахивает слезы с глаз, – я мог бы подумать, что Дженни меня совсем не слушала, а значит, совсем не слышала.

Но ведь все обстояло иначе: она не пропустила ни одного моего слова, в чем я был уверен.

Следовательно, ее молчание означало упрямство, невежливость или, в лучшем случае, неловкость.

Но какое упрямство при глазах мягких, как глаза газели! Но какая невежливость при голосе нежном, словно пение! Но какая неловкость при таком чарующем изяществе!

Трудно было умом совместить это, и, однако, дело обстояло именно так. Поэтому я решил отплатить молчанием за молчание; я знал, что завтрак приготовлен стараниями мисс Дженни, и, хотя, должен признать, дорогой мой Петрус, он был великолепен, хотя это великолепие усугублялось моим завидным аппетитом – результатом двух утренних прогулок, хотя я поглотил сам половину этого завтрака, я не произнес ни единого слова одобрения.

Правда, между нами существовало различие: дело в том, что Дженни хранила молчание просто как человек, которому нечего сказать, я же молчал как человек, у которого душа полна и которого злит невозможность говорить.

При таком общем молчании завтрак проходил мрачно, как Вы сами это понимаете, дорогой мой Петрус.

Мисс Дженни встала из-за стола первой и занялась заваркой чая с той естественностью, с какой после нашего возвращения из церкви она делала все: то ли девушка привыкла к своему одеянию, то ли ее натура взяла верх над роковым искусством, сковывавшим все ее движения, но мало-помалу она вновь обрела присущую ей грациозность и свою обычную непринужденность.

Я же злился все больше из-за того, что она, столь бесхитростная и естественная, обратилась ко мне только лишь для того, чтобы сказать, что чай готов, и пригласить меня к одному круглому столику.

Что касается матери, то ее явно тяготила вся эта медлительность трапезы и чаепития.

Поэтому, как только я выпил первую чашку, она, не спрашивая, хочу ли я вторую, сказала мне:

– Господин Бемрод, вы видели только нижний этаж нашего домика; идите за мной, и я вам покажу второй этаж... Вы увидите, что в его четырех стенах заключено помещений больше, чем можно предположить, и что, строго говоря, у нас имеются два домашних хозяйства.

Я рад был уйти из комнаты, где находилась мисс Смит хотя бы только ради того, чтобы показать ей, как мало я дорожу ее обществом.

Последовав за г-жой Смит и изображая улыбку, суть которой легко понял бы наблюдатель более тонкий, чем старик, или более любопытный, чем девушка, но которую добрая г-жа Смит, пастор и мисс Дженни не подвергли ни малейшему сомнению.

Я догадывался, что это путешествие в высокие широты дома имело только одну цель – продемонстрировать мне богатства, еще мне неведомые, поскольку я посетил всего лишь низшие его сферы.

Я не ошибся.

Это было повторение того обследования, на которое подвигнула меня добрая г-жа Снарт, когда она принимала меня в Ашборне.

Но какое различие в намерениях, дорогой мой Петрус!

Госпожа Снарт выражала признательность; г-жа Смит искушала.

Поэтому, насколько легко г-жа Снарт завоевала мое сердце, настолько со всей силой моей воли я решил противиться г-же Смит.

В конце концов, заметив, что, несмотря на только что законченный обзор всех ее богатств, я остался холоден и почти нем, она сказала мне:

– Дорогой господин Бемрод, вы, я вижу, человек весьма бесстрастный.

Я кивнул, подтвердив, что она не ошибается.

– Вы правы, – продолжала жена пастора, – бесстрастность – добродетель, тем более достойная похвал, что она редкостна, но, поверьте мне, человек разумный, а вы, полагаю, человек настолько же разумный, насколько бесстрастный, не презирает такое честное благополучие, без которого могут существовать спокойствие ума и мир в душе, но без которого наверняка не может быть подлинного счастья.

Вступить в супружество, имея долги, – плохое начало для семейной общности; конечно, можно спать на тюфяке, набитом кукурузными листьями, но куда лучше спать на волосяном матраце и на шерстяной подстилке.

Поэтому подобный вам человек, конечно же, приносит жене достаточно, когда имеет такой хороший приход, как ашборнский, и такой прекрасный талант, как у вас; но в этом случае нужно также, чтобы и жена принесла кое-что со своей стороны – если и не денежное приданое, то, по крайней мере, хорошее постельное белье и добротную мебель. Уверена, вы думали над этим, не так ли, дорогой господин Бемрод?

Атака была столь прямой, что нервы мои напряглись.

– Никогда, сударыня! – ответил я.

– Как никогда? – воскликнула она. – Вы никогда не думали о женитьбе?

– Мною было сказано совсем не это, сударыня, – возразил я. – Наоборот, я много размышлял о браке, особенно с некоторых пор.

– С некоторых пор? – переспросила г-жа Смит, не в силах скрыть беспокойство в голосе. – Так вы уже выбрали себе спутницу жизни? Вы уже нашли себе супругу по сердцу?

Я хотел любой ценой, пусть даже ценою лжи, покончить с такой надоедливостью.

– Да, сударыня, – сказал я ей, – и уже давно.

– Значит вы собираетесь жениться?

– Для этого я только ждал времени, когда меня назначат пастором.

– И теперь, когда вы пастор...

– Теперь, надеюсь, ничто не помешает осуществлению моих намерений.

– О Боже мой! – прошептала г-жа Смит, положив руку на грудь, как будто ее ранили в самое сердце, и опираясь другой о спинку стула, как будто она закачалась от удара.

Но почти тотчас она овладела собой.

Скажу вам, дорогой мой Петрус, что после такого признания я ожидал перемены в манере ее поведения и даже рассчитывал на это, чтобы в собственных глазах найти извинение тому греху, который я только что совершил, прибегнув к такой грубой лжи.

Но, наоборот, искренняя улыбка, правда не без легкой печали, обрисовалась на ее губах, и, протянув мне руку, только что лежавшую у нее на груди, добрая женщина сказала:

– Простите меня, дорогой господин Бемрод, я этого не знала и считала вас свободным.

Благодаря этим словам, этой интонации, этой улыбке я понял, что заблуждался в моей, наверное несколько поверхностной, оценке характера г-жи Смит и, принимая ее руку, протянутую мне, пробормотал:

– Нет, это я прошу вас извинить меня, сударыня.

– Но за что? – удивилась она. – За то, что вы более счастливый, нежели мне казалось? О нет, нет; теперь уже не будет ни одной задней мысли ни в моем уме, ни в моем сердце, дорогой господин Бемрод!

Вы кого-то любите; любовь чистая, любовь бескорыстная есть самое благородное, скажу больше: самое святое из всех человеческих чувств.

С этого часа каждый день, утром и вечером я буду молить Бога за вас и вашу возлюбленную подружку.

Вы любите друг друга, а значит, мне нечего вам пожелать, кроме одного: чтобы эта любовь длилась до самой могилы.

Вы добры, вы образованны, вы набожны; ваши прихожане любят вас, восхищаются вами и уважают вас; у вас отзывчивое сердце и чистая совесть: это и есть все необходимое для того, чтобы снискать благословение Неба.

Бог ниспосылает вам свое благословение, как я, смиренная женщина, даю вам свое.

Благословение Господа – это самое великое благо, какое может пожелать достойный человек в этом мире.

Пойдемте, дорогой господин Бемрод, не будем больше говорить об этом... Пусть ваша супруга будет нежной, благочестивой, любящей... Пусть она сделает вас таким же счастливым... как...

Она прервала себя и быстро изменила мысль:

– ... как я постаралась сделать счастливым господина Смита, а он тоже достойный человек.

Пойдемте, мой дорогой господин Бемрод: вам нечего больше осматривать, а мне, к сожалению, нечего больше вам показывать.

Затем, смахнув набежавшую слезу, она спустилась по лестнице.

Я последовал за ней, растроганный до глубины души и сам готовый заплакать, не слишком хорошо понимая, как мне лучше поступить – рассказать о своем обмане или же оставить ее в заблуждении.

Но я еще ничего не успел решить, как она открыла дверь гостиной и объявила мужу и дочери:

– Друг мой, дитя мое, я должна сообщить вам добрую весть. Наш дорогой сосед, пастор Бемрод, намерен жениться на особе, которую он любит и которая, надеюсь, сделает его счастливым, как он того заслуживает.

Пастор взглянул на жену с торжествующим видом; Дженни испустила крик, похожий на выражение радости, и бегом бросилась из комнаты.

Признаюсь, я смотрел с некоторым удивлением на это бегство, вовсе не входившее в мои расчеты.

Но г-н Смит не дал мне времени размышлять над этим.

– Идите-ка сюда, мой юный друг, – обратился он ко мне, протягивая обе руки, – я понимаю, почему вы сделали это признание моей жене и тем более уважаю вас за это.

Затем он повернулся к г-же Смит:

– Ну что же, жена, теперь все в порядке, и мы пообедаем веселее, чем завтракали... Нужно вам сказать, мой дорогой сосед, – смеясь, добавил г-н Смит, – кое о чем, что вы уже и сами заметили: дело в том, что моя жена, эта превосходная женщина, выслушав мои добрые слова, сказанные о вас по возвращении из Ашборна, вбила себе в голову одну мысль, бедная дорогая женушка!

К счастью, Бог, помогая вам, позволил недолго длиться ее безумию.

Вот чем объясняется и поездка в Честерфилд для покупки этого ужасного дамского наряда, в котором, не предупредив меня, вам показали нашу Дженни, и двусмысленные речи насчет брака, и показ наших жалких богатств...

И к чему это привело тебя, женушка? К крушению твоих надежд!

Ах, я ведь говорил тебе сегодня утром: «Тайные ходы ни к чему хорошему не ведут; как только человек вступает на них, его сопровождают два спутника; один идет впереди него, другой – за ним: впереди – сомнение, за ним – тоска».

Ты, жена, идешь так с утра, и я смотрю на тебя с печалью, едва ли не со стыдом, видя, как ты спотыкаешься на каждом шагу.

Ты избрала ложную дорогу – наш друг вернул тебя на прямой путь! Спасибо, господин Бемрод, урок был хорош, и я надеюсь, он пойдет ей на пользу.

– Друг мой, – произнесла г-жа Смит, – прости меня... Простите меня, господин Бемрод... Но я думала, что не возбраняется немного помочь Провидению.

– Жена, – продолжил пастор, – хорошенько это запомни: Провидение, Божье чадо, так высоко парит над нашими головами, что все наши жалкие ухищрения, на которые мы пускаемся, чтобы подчинить его нашим прихотям, не достигают и половины той высоты, где оно находится, и только лишь молитва может подняться к нему, женушка. То, что входит в намерения Всевышнего, исполняется всегда независимо от вмешательства или невмешательства человека, и это к счастью, поскольку Господь лучше нас знает, в чем нам отказать и что нам предоставить. Возблагодарим же Бога даже в беде, которую он нам ниспосылает: то, что нам представляется несчастьем, нередко оказывается лишь началом нашего счастья.

– Аминь! – невесело прошептала г-жа Смит.

В это мгновение дверь гостиной распахнулась; я обернулся на шум и не смог удержаться от крика изумления и радости.

То была Дженни, но уже не такая, какая нас покинула, то есть в напудренном парике, с гладкой прической, с румянами и белилами, скрывавшими ее природный нежно-розовый цвет лица, в вышитом платье из полосатого шелка, в гигантских фижмах и в туфлях на высоких каб-

луках: теперь мы увидели Дженни в ее соломенной шляпке, украшенной васильками, Дженни с ее золотистыми волосами, развевающимися при каждом дуновении ветерка, с ее свеженьким личиком, в ее белом платье с голубым поясом.

Она вошла смеясь и припрыгивая, полная радости оттого что избавилась сразу от своего туалета и от меня, ведь, похоже, и то и другое весьма тяготило ее.

– Господин Бемрод, – сказала она, – мама показала вам свое белье, свои серебряные ложки и свои красивые шкафы орехового дерева; пойдете теперь со мной, и я вам покажу мои цветы, моих кур, моих птичек. Вы мне расскажете о девушке, которую вы любите и которая, должно быть, очень красива, а я поговорю с вами о вашей воистину прекрасной проповеди.

Я повернулся к г-ну и г-же Смит, как бы спрашивая у них разрешения принять приглашение очаровательной девушки.

– Идите, идите, – сказал мне ее отец, – Богу угодно то, что ему угодно, и человек только слепое орудие его воли.

Я охотно взял Дженни за руку и вышел вместе с ней.

XVIII. Прогулка

Нужно ли напоминать Вам, дорогой мой Петрус, что мне тогда едва исполнилось двадцать пять, а Дженни – девятнадцать?

Мы прошли по жизни еще меньше, чем природа продвинулась по временам года: природа пребывала в июне, в то время как Дженни была еще в апреле, а я – в мае.

Поэтому сердца наши цвели, словно примулы, усеявшие дорогу, и фиалки, источавшие вокруг нее аромат.

Мы с радостью мигом скрылись от родительских глаз, как птичка Дженни выпархивала из клетки.

И можно сказать, у нас тоже появились крылья.

Быть может, дорогой мой Петрус, Вы спросите, насколько гармонично вся эта радость, все это счастье, вся эта душевная нега сочетались с моим пасторским званием и налагаемой им миссией.

Да, дорогой друг, да, прекрасно сочетались, поскольку счастье делает злых людей добрыми, а добрых – еще добрее; Да, поскольку мне казалось, что я стал лучше, чем был, и мне хотелось прижать весь мир к моей взволнованной груди; мне хотелось цветами моего венка устлать весь путь человечеству.

Если бы мне встретился нищий, я отдал бы ему гинею и несколько шиллингов, оставшихся у меня.

Разве я нуждался в деньгах? Разве я не был богат моей любовью и моим счастьем? Разве я не был богат этим сокровищем, которое уже считал утраченным и которое только что снова обрел, – этой прекрасной юной девушкой с золотистыми волосами, в соломенной шляпке, в белом платье; этой юной девушкой, которая опиралась на мою руку, словно была моей сестрой, и для которой, я хорошо это чувствовал, я стал больше чем братом?

Она же в своей душевной чистоте поистине воспринимала меня как друга, спутника, гостя своего отца – и только.

Как и сказала мне Дженни, она повела меня смотреть своих кур, при виде хозяйки сбежавшихся к ней, и своих голубей, сразу же закруживших над ее головой.

– О Боже мой! – вырвалось у девушки. – Бедные детки, я забыла взять для них зерна... Впервые, сбежавшись ко мне, они обманутся в своих надеждах!

– Вы представляете этих бедных птиц очень уж эгоистичными, дорогая Дженни, предполагая, что они спешат к вам только ради корма; они любят и вас тоже.

– Все равно, – возразила она, – я не хочу проделывать опыт, который, быть может, обернется для меня конфузом... Давайте сходим за зерном!

Мы бегом помчались к навесу в сопровождении кур, семенивших вслед за нами, и красивых белоснежных голубей, летавших вокруг нас.

Пес, сидевший на цепи, делал все возможное, чтобы ее порвать и броситься следом за нами; он рычал то радостно, оттого что видит Дженни, то жалобно, оттого что не может к ней приласкаться.

Он впал в отчаяние из-за невозможности присоединиться к этому общему празднеству, которому в честь Дженни предавался птичий двор.

Не стали исключением даже селезень с уткой вместе с дюжиной утят: общий порыв извлек их из лужицы, где они бултыхались, и они поспешили вслед за нами, образовав арьергард всего этого пернатого полчища.

Под навесом стоял ларь, в котором хранилось всякого рода зерно для обитателей птичьего двора.

Куры, утки и голуби отлично знали этот ларь и окружили его – кто кудахтая, кто крякая, кто воркуя.

Я приподнял крышку ларя и придержал ее головой, что позволило нам обоим набрать полные пригоршни зерна.

Затем я опустил крышку.

Помните ли Вы, дорогой мой Петрус, очаровательную гравюру по одной французской картине с названием «Маленькая фермерша»?²²³

На ней изображена хорошенькая молоденькая девушка, окруженная целым пернатым миром, который ожидает кормежку.

Дженни являла собой оригинал этой картины.

Куры пытались взлететь, чтобы достичь ее рук; голуби садились ей на плечи; утки неловко приподнимались на лапах, хлопая крыльями.

Я отступил в сторонку, чтобы как можно лучше видеть королеву пернатого царства, и, хотя в моих руках тоже было предостаточно зерна, ни один из подданных Дженни не покинул свою владычицу, чтобы получить корм от меня.

– Видите, дорогая соседка, – заметил я, – вы были несправедливы по отношению к этим скромным существам.

– Подождите-ка, – отозвалась она. И высыпала на землю зерно.

Все крылатое содружество набросилось на корм, и он исчез в одно мгновение.

Затем все птицы остались на месте и, грустно поворачивая поднятые кверху головки и помаргивая, внимательно смотрели, не даст ли им еще чего-нибудь маленькая фермерша.

– А теперь ваша очередь, – сказала она.

Я в свою очередь голосом и жестами позвал кур, уток и голубей.

Увидев вокруг меня дождь сыплющегося зерна, весь птичий двор покинул свою владычицу, чтобы приветствовать своего короля, и только один красивый белый голубь, оставшийся на плече девушки, ласкал ее розовые губки своим розовым клювом и, казалось, не нуждался ни в какой другой пище, кроме взаимных поцелуев.

– Что ж, вы видите, Дженни, – заметил я, – что есть еще в этом мире верные сердца!

– Да, – улыбаясь, подтвердила она, – быть может, одно из пятидесяти.

– И что, – спросил я, – это много или, точнее, этого достаточно?

Не ответив, она взяла голубя обеими руками, поцеловала его и подбросила в воздух.

Но он, вместо того чтобы вернуться в голубятню, куда, казалось, его направляли, несколько секунд кругами летал над Дженни и снова сел на ее плечо.

Даже изгнанный хозяйкой, он не захотел ее покинуть.

– Вот вам доказательство, Дженни, – сказал я с улыбкой, – есть не только верные сердца, но и сердца преданные.

Пес все еще лаял от радости и рвался на цепи к хозяйке.

– Не слишком задерживайте ваш визит к несчастному пленнику, – посоветовал я девушке. – Иначе вы много потеряете в его глазах.

Мы подошли к конуре со всем кортежем кур и уток, не отстававших от нас ни на шаг.

– Это Фидель, – представила собаку Дженни. – В качестве нашего соседа вы должны с ним познакомиться. Освободите его сами, чтобы это знакомство с вашей стороны началось оказанной услугой, а с его – благодарностью.

Я отвязал Фиделя, и он стал весело прыгать среди кур, уток и голубей, нимало не заботясь о том, чтобы кто-нибудь не попал под его лапы.

Голуби разлетелись; куры разбежались кто куда; утки поспешили вернуться к лужице.

Первые прыжки Фиделя прежде всего адресовались Дженни.

²²³ Сведений о такой картине («Le Petite Fermiere») найти не удалось.

Затем, распределяя по справедливости свою благодарность, он подбежал и ко мне. Стоило мне два-три раза погладить его, как между нами завязалась дружба.

– Теперь, – предложила Дженни, – пойдёмте смотреть мои цветы.

У меня не было других желаний, кроме тех, которые были у Дженни; мне казалось, что мое призвание в том и состоит, чтобы всюду следовать за ней, любоваться ее стройной шейкой, ее тонкой талией, ее настолько легкой походкой, что я каждое мгновение опасался, как бы все это воздушное создание не обрело крыльев и не поднялось к небесам, оставив меня на земле в одиночестве!

Дженни открыла одну за другой две калитки, и мы очутились в очаровательном садике, полном цветов, и там опьяненный свободой Фидель стал гоняться за бабочками и лаять вслед разлетающимся птицам.

Дженни прикрикнула на него, ведь птицы и бабочки были гостями девушки и, чувствуя, что ее бояться нечего, обычно кружились над ней.

Фидель присмирел, уgomонился и степенно пошел по аллее, вместо того чтобы прыгать как сумасшедший через шторы.

Это царство цветов составляло часть империи Дженни.

Среди роз, ирисов, анемонов, гиацинтов и тюльпанов и сама Дженни выглядела особым живым цветком, одаренным способностью двигаться; она разговаривала со всей этой сияющей благоухающей растительностью точно так же, как она разговаривала с курами, голубями и утками; для Дженни каждый цветок обладал не только своим названием, но и дружеским именем; она была старшей сестрой в этом семействе, за которым ухаживала с весны, будто молодая мать; она рассказывала мне о недомогании той или иной лилии, о болезни того или иного лютика и расхваливала крепкое великолепное здоровье тех или иных бальзаминов...

С другой стороны, можно было бы сказать, что цветы выказывали Дженни признательность, словно существа, одаренные чувствами; можно было бы сказать, что их запахи, порой набирающие еще большую силу, были не чем иным, как почестями, воздаваемыми ей самыми нежными из них; можно было бы сказать, что, склоняясь под ветерком к ее ногам, наиболее гибкие и наиболее любящие из цветов признавали тем самым привлекательность моей спутницы...

Конечно же, то была иллюзия, но мне казалось, что, когда Дженни проходила мимо, кусты роз тянули к ней ветки, чтобы удержать ее, кисти сирени трепетали, жасмин стряхивал ей под ноги свои снежные лепестки и все душистое царство приветствовало ее приход пением соловьев, славок и синиц, столь искусно спрятавшихся в зелени, что невозможно было понять, то ли это запахи обладают птичьими голосами, то ли это птичьи голоса источают запахи.

Дойдя до угла сада, где калитка отделяла его от луга, Дженни приложила палец к устам, призывая меня к молчанию.

Я замолк, а она стала ступать еще тише, тем самым приглашая меня не шуметь, и дальше я пошел за ней уже на цыпочках.

Таким образом она подошла первой к сплошной массе сирени и бульденежей,²²⁴ выделявшейся на фоне зеленых деревьев; девушка тихонько раздвинула ветки и только глазами показала мне гнездышко, упрятанное в листве.

Я не сразу его заметил – так искусно оно было замаскировано благодаря предусмотрительности крылатых архитекторов, соорудивших его: то было жилище славок,²²⁵ и в нем сидела мать семейства.

²²⁴ Бульденеж (фр. *boule-de-neige* – «снежный ком») – декоративная форма калины; имеет крупные белые цветы, соединяющиеся в шарообразные соцветия.

²²⁵ Славки – род птиц семейства славковых, живут в Европе и Северной Африке; некоторым их видам свойственно красивое мелодичное пение.

– Не пугайтесь, маленькая мама, – обратилась к ней Дженни своим нежным голоском, – и, протянув руку, осторожно взяла славку и приподняла ее над гнездом, где я увидел пять светло-серых яичек с темно-серыми пятнышками.

– О, она высиживает птенцов, – прошептал я Дженни, – скорее верните ее в гнездо... вы знаете, птицы бросают свое гнездо, если заметят, что его кто-то коснулся.

– Другие птицы – быть может, но не мои, – возразила Дженни. – Сейчас сами увидите...

И она приблизила славку к своим устам, поцеловала ее; после Дженни птичьего клювика коснулся губами я, а затем девушка вернула бедную птичку в ее жилище.

Славка тотчас распушила свои перышки, сжалась на мгновение и, уместившись в углублении гнезда, полностью покрыла его своим тельцем.

– Видите, – сказала Дженни, обернувшись ко мне, – она даже не улетает. Я утвердительно кивнул.

Я в самом деле все видел, но словно сквозь туман: передавая мне птичку для поцелуя, Дженни дала мне и свою руку, так что мои губы лишь чуть-чуть коснулись птичьей головки и куда ошутимее коснулись девичьих пальчиков.

Дженни в своем целомудрии только улыбнулась; она даже не почувствовала этого поцелуя, разделенного со славкой, но, оставив ее безмятежной, меня он погрузил в сладостный туман.

Однако девушка заметила то своего рода оцепенение, в которое я впал.

– У вас нет такой большой соломенной шляпы, как у меня, дорогой господин Бемрод, – обеспокоилась она, – и вам напекло голову... Давайте-ка перейдем в тень!

И она открыла калитку, выходящую на поросший лесом луг; Фидель первым бросился в тень от деревьев, Дженни последовала за ним, а затем туда вступил и я.

ХІХ. Мы с дженни говорим немного о моей проповеди и гораздо больше о женщине, которую я полюбил

Трудно вообразить, как для зрения, для обоняния, я бы сказал чуть ли не для осязания – как для всех тонких чувств, наконец, чарующе контрастировали между собой луг, на который мы вступили, и сад, полный игры лучей, красок и запахов, из которого мы ушли.

Свет и полутьма перемежались на этом зеленом лугу, окруженном огромными ольхами и гигантскими тополями; слева он нас простирался настоящий лес, где росли деревья этих двух пород, так хорошо произрастающих на влажных землях; справа от нас тянулась длинная аллея ив, которая окаймляла прелестный ручеек, нашептывающий свою неумолчную песенку, а по берегам его и на его поверхности подрагивали звездочки голубых барвинков и незабудок с золотистыми зрачками.

По другую сторону ручья, на жестком ковре свежескошенного луга, желтели стога сена, насыщавшие теплые южные ветерки своими горьковатыми ароматами.

Так мы шли около пяти минут; Фидель бегал и лаял; Дженни пробиралась по тропке настолько узкой, что по ней нельзя было идти рядом, и я шел вслед за Дженни.

Наконец, юная красавица остановилась под самой густолиственной ивой, у подножия которой примятая трава указывала на чье-то излюбленное место отдыха.

Дженни сняла шляпу, повесила ее на ветку, села и знаком велела мне сесть рядом с ней. Я повиновался.

Фидель перепрыгнул через ручей, обежал по лугу немалый круг и, возвратившись, важно уселся прямо перед нами.

Тогда, составляя букет из садовых и полевых цветов, Дженни повернулась ко мне.

– Мой дорогой сосед, – промолвила она, – когда мы вместе выходили из дома, я пообещала показать вам моих кур, моих голубей и мои цветы – все это вы увидели. Я добавила, что выскажу похвалы вашей проповеди: так вот, ваша проповедь действительно прекрасна, и нисколько не сомневайтесь в этом, ведь вы сами могли заметить, как я плакала, а слезы стоят дороже похвал. Наконец, я сказала, что в свою очередь вы расскажете мне о женщине, которую вы любите. Вы ничего мне не ответили, тем самым связав себя обещанием, ведь молчание – знак согласия, если только поговорка не обманывает. Так что теперь ваша очередь говорить, а я буду молчать, дорогой сосед... Говорите же! Я умолкаю, я слушаю.

Я сел рядом с Дженни, опершись на локоть, и, глядя на нее сбоку, видел, как она очаровательна; как Вы сами можете убедиться, дорогой мой Петрус, время было выбрано ею весьма удачно для того, чтобы предложить мне рассказывать ей о женщине, которую я люблю.

Я не знал, какому искушению поддаться – то ли заключить ее в объятия, то ли броситься к ее ногам с восклицанием:

– Дженни! Дженни! Женщина, которую я люблю, это ты! Но я не отважился на это, и к тому же, друг мой, скажу Вам, обстановка была такой милой, я был так счастлив сидеть рядом с Дженни, она выглядела такой прекрасной в моих глазах, что мне не хотелось разрушать испытываемое мною счастье даже ради возможного большего счастья!

– Итак, дорогая Дженни, – начал я, – вы хотите знать о той, которую я люблю?

– Да... отец нам говорил так много хорошего о вас...

Дженни понимала, на какой она путь встала, но, не желая отступать, продолжала, улыбаясь и краснея одновременно:

– Отец нам говорил так много хорошего о вас, что довел мать просто до безумия, как вы сами могли убедиться!

– До безумия, которое вы, Дженни, не разделяли ни одного мгновения, не так ли?

– О, я-то вас просто возненавидела! Разве не из-за вас мне натянули волосы, чтобы гладко их причесать?! Разве не из-за вас мне сдавили талию железным каркасом и заставили шагать на каблуках, которые увеличили мой рост на два дюйма, зато вывернули мне ноги?!.. Мне кажется, хватало причин проклинать кое-кого?

– Да... Ну, а теперь?

– О, теперь другое дело... С той минуты, когда матушка отказалась от своих планов относительно вас, с той минуты, когда я снова могла надеть мои маленькие башмачки, подальше забросить корсет и стряхнуть до последней пылинки пудру с моих волос, – с той минуты я вас не только не ненавижу, но...

Я прервал ее.

– Правда?.. И вы полагаете, я довольствуюсь тем, что вы меня уже не ненавидите?

– Вы не дали мне закончить фразу, я собиралась вам признаться не только в том, что уже не испытываю к вам ненависти, но и в том, что полюбила вас как брата.

– Спасибо! – вымолвил я, беря ее за руку. – Спасибо, Дженни!

– Таким образом, поскольку я люблю вас как брата, я хочу знать что-нибудь о женщине, с которой вы обручены, чтобы любить ее как сестру, – продолжила девушка.

– Дженни, я не говорил вам, что я обручен.

– О Боже мой! – воскликнула она, пытаясь выволить свою руку из моей. – Обручен или нет, но ведь вы ее любите, ведь она любит вас...

Я удержал руку девушки.

– Я сказал вам, Дженни, что люблю ее, но не говорил, что она меня любит...

– Как! – с удивлением воскликнула девушка, уже не заботясь о своей руке, предоставленной мне. – Вы любите женщину, которая не любит вас?

– Разве, Дженни, не бывает так, – спросил я, глядя на нее с нежностью, – когда любишь того, кто не любит тебя?

– Не знаю, – ответила она.

Затем, сочувственно глядя на меня, она добавила:

– О Боже мой, неужели вы имели несчастье полюбить без взаимности?

– Да, я имею несчастье любить ту, которая не знает, что я ее люблю.

– И вы так и не решились признаться ей в своей любви?

– Да я ведь и говорил-то с ней всего один раз в жизни!

– Но как же вы могли влюбиться в женщину, которую видели всего один раз?

– Я не говорил вам, Дженни, что видел ее всего один раз; я вам сказал только то, что говорил с ней всего один раз.

– О, в таком случае это целый роман! – весело воскликнула девушка.

– Да, дорогая Дженни, целый роман – пастораль...²²⁶ в духе Лонга²²⁷

– И вы мне расскажете об этом, надеюсь.

– Если позволите, Дженни...

– Если позволю?! Неужели я не позволяю?! Я сделаю лучше – я попрошу вас об этом!

Не могу Вам передать, дорогой друг, с каким очаровательным и вместе с тем невинным и простодушным кокетством произнесла Дженни эти слова.

Если бы я и не любил ее, то уж, конечно, здесь, под ивой, сидя рядом с ней, в сочетании с этим ручьем, журчавшим у наших ног, с этими птицами, распевавшими у нас над головами, с проникающим из тени ароматом ландышей, с этим горьковатым запахом нагретого солнцем сена, с ее рукой, покоящейся в моих руках, с ее глазами, устремленными в мои глаза, с ее

²²⁶ Пастораль – литературный жанр, распространенный в Европе в XIV–XVIII вв.; для него было характерно идиллическое изображение сельской природы, жизни пастухов и лесных божеств.

²²⁷ Лонг (II–III вв. н. э.) – греческий писатель; автор любовно-буколического романа «Дафнис и Хлоя».

мягкой улыбкой, с которой она пыталась читать в моем сердце, с ее любопытством, срывающим каждое слово с моих губ, – если бы я и не любил ее, то уж, конечно, в этот час, в эти минуты должен был бы безумно в нее влюбиться.

– О да, да, Дженни! – воскликнул я, поспешно поднося ее руку к моим губам. – О да, я скажу вам, кого я люблю, и вы, надеюсь, не доведете меня до отчаяния, заявив, что меня полюбить невозможно?

Девушка взглянула на меня с нескрываемым удивлением.

– Послушайте, – продолжал я, – я полюбил впервые в жизни; еще всего неделю тому назад я знал свою любовь только по имени, а вернее, не знал даже ее имени.

– Неделю тому назад?

– Да.

Девушка засмеялась:

– И вдруг вы открыли это чудо Творения, пленившее ваше сердце? И вот так вы влюбились?

– Совершенно верно, Дженни; все произошло так, как вы говорите... Не доводилось ли вам слышать о том, что в каком-нибудь пустом уголке неба при помощи телескопа открывают вдруг дотоле неведомую звезду и что она тем не менее оказывается самой прекрасной и блистательной из звезд?

– И вам для этого понадобился телескоп?

– Да, Дженни, и поэтому-то я знаю, а она меня не знает, поэтому-то я ее вижу, а она меня не видит... Два дня небо было затянуто облаками, два дня ее невозможно было увидеть; и в эти два дня я просто не жил: земля казалась мне обезлюдевшей, небо – пустынным; другие звезды не существовали, а вернее, я на них не глядел... Наконец, я увидел ее вновь, но словно затуманенной, словно затянутой вуалью... Тогда я решил, что ошибся; я стал сомневаться в своем телескопе, я стал сомневаться в собственных глазах, я усомнился в ней самой... К счастью, по-настоящему я ошибся именно на этот раз! Неожиданно она избавилась от обволакивавших ее облаков, и я обрел ее вновь, чистую, целомудренную, сияющую; таким образом, Дженни, вы меня видите после всех моих сомнений и страхов более ободренным и более влюбленным в нее, чем когда-либо прежде!

– Послушайте, господин Бемрод, – заявила Дженни более серьезно, но не более сурово, – я не очень-то хорошо понимаю образный язык, а главное, ум у меня не настолько утонченный и развитой, чтобы отвечать вам в том же стиле. Так что, пожалуйста, опустите вашу звезду с седьмого неба, куда вы ее поместили и где ее можно увидеть только при посредстве чудесного телескопа, который помог вам ее открыть; немного приблизьте вашу звезду, поместите ее в поле моего зрения, и только тогда я смогу вам сказать, что я думаю об этом и, следовательно, что должны думать об этом вы.

Слушая девушку, дорогой мой Петрус, я понял, что для меня наступил тот высший миг существования, когда человеку дается выбор между радостью и печалью, между жизнью и небытием; я понял, что Бог предлагает мне сразу два блага – жизнь и радость – и теперь остается только протянуть руку и взять их.

И я рассказал ей все – как я приехал в Ашборн; как был принят вдовой пастора Снарта; как поверил, что обрел в ней вторую мать; как она однажды назвала меня своим сыном.

Я поведал ей о моей душевной боли, когда по возвращении в Ашборн я узнал, что г-жа Снарт умерла; о своем одиночестве и своей нищете; затем о том, как благодаря сострадательности моих прихожан я избавился от нищеты, но только не от одиночества, и, наконец, о том, как благодаря Провидению, благодаря Господней милости исчезло и мое одиночество.

Я описал моей собеседнице бело-красно-зеленый домик, наполовину выступающий из гущи деревьев и цветов, домик, ставший моим единственным горизонтом; я в словах обрисовал ей окно, эту очаровательную рамку для еще более очаровательного портрета.

Это окно присутствовало при всех моих надеждах, когда появлялась моя незнакомка, при всех моих огорчениях, когда я видел его пустым или закрытым.

Не утаил я от Дженни и двух моих вечерних экскурсий, во время первой из которых я ограничился тем, что вышел на большую дорогу и слушал похвалу г-ну Смиту и его дочери, а во время второй – обошел почти мертвый дом с темными окнами, где единственной искоркой жизни оставался свет в комнате на первом этаже, на который я смотрел через решетчатую ограду с места, откуда меня прогнали голоса трех мужчин и стук кареты.

Она могла проследить за тем, как я возвращался к себе домой; увидеть, как я вошел в пасторский дом, еще более мрачный, еще более одинокий и пустой, чем когда-либо, как поднялся в свою темную комнату, как машинально открыл свое окно и неожиданно вскрикнул, снова обнаружив свою исчезнувшую звезду.

Затем, дав общее описание, я приступил к подробностям – клетка и щегол, белые занавеси над кроватью, кресла, обитые кретоном в розовых цветах, голубая фаянсовая ваза, соломенная шляпка, венок из васильков; я ничего не упустил, ничего не забыл, даже моей утренней растерянности, когда я увидел мою золотоволосую незнакомку в белом платье с голубым поясом, превратившуюся в городскую даму, гладко причесанную, одетую в полосатое шелковое платье с вышивкой и с трудом стоящую в туфлях на высоких каблуках.

Дойдя до этого, надо было идти до конца и рассказать уж обо всем, даже о моей лжи.

Я так и сделал, но поведал также о том, какую испытал радость, какое счастье, вновь увидев мою мечту, мою прелестную бабочку в то мгновение, когда она избавилась от своей куколки, став еще более свежей, более сияющей, более воздушной, чем прежде.

Одну за другой я перебрал все минуты последнего часа, промелькнувшего как секунда и, однако, заключавшего в себе всю мою будущую жизнь: птичий двор с его курами, утками и голубями – то есть жизнь материальную; сад с его цветами, певчими птицами, солнцем – то есть жизнь поэтическую; этот луг с его тенью, журчащим ручьем, далекими запахами – то есть жизнь вдумчивую и сосредоточенную; рассказывая, я остановился только в самом конце моего романа, приведшего меня сюда под эту иву, где я полулежал возле моей слушательницы, и тут я воскликнул:

– Дженни! Дорогая Дженни! Теперь вы знаете возлюбленную моего сердца; моя радость или моя печаль зависят от нее... Скажите, моя дорогая Дженни, могу ли я надеяться или меня ждет отчаяние?

Все начало моего рассказа Дженни слушала, не сводя с меня своих улыбчивых и вопрошающих глаз, поскольку она пока еще не понимала сути происходящего и думала, что речь идет о какой-то незнакомке; затем мало-помалу она начала догадываться, что говорю я о ней; тогда она медленно опустила глаза, не переставая слушать; наконец, щеки ее зарумянились сильнее, а грудь стала чаще подыматься; неожиданно она встала и замерла стоя, все больше и больше краснея, в неподвижности своей подобная статуе Скромности...

А я, произнося последние слова, стал на колени, не выпуская ее прекрасной руки из моих ладоней. Услышав мою мольбу и слабый вскрик боли, вырвавшийся у меня, когда я почувствовал, что эта рука пытается вырваться из них, Дженни пожалела меня и осталась.

Ее сострадание вызвало в моей душе прилив счастья, поскольку в таком случае – Вы, ученый профессор философии, это сами понимаете, – в таком случае сострадание могло означать только одно – начало любви.

Итак, я, задыхаясь от волнения, стоял на коленях, сжимая ее руку в моей, не в силах пробормотать ничего иного, кроме слов:

– Дженни!.. Дорогая Дженни!

Тогда она произнесла своим нежным чуть дрожащим голосом:

– Господин Бемрод, мне кажется, что сейчас вы поступаете дурно, и уловка, предпринятая вами, очень уж изощренная для того, кто любит... Но это не имеет значения; я отвечу

вам просто: да, когда моя матушка повезла меня в Честерфилд, чтобы разодеть меня, словно невесту управляющего графа Олтона; когда по ее настоянию, для того чтобы понравиться вам, я должна была напудрить свои волосы, надеть это мерзкое платье с вышивкой и эти туфли на высоких каблуках, которые мешают не только бегать, но и просто ходить, тогда мне подумалось, что мужчина, который, чтобы полюбить женщину, требует от нее пожертвовать простотой, естественностью, подлинностью, не способен любить по-настоящему, что такой мужчина ненавидел бы моих птиц, мои цветы, мой луг; что мне пришлось бы жить с ним совсем иной жизнью, чем моя нынешняя, такая тихая, такая спокойная, такая мирная...

Тогда, точно так же как вы испытывали предубеждение против меня, и я была заранее настроена враждебно по отношению к вам: я задерживала, лишь бы только не идти вместе с вами, матушку, торопившую меня; я села, а вернее, к большому моему сожалению, мать усадила меня напротив кафедры; мне хотелось, чтобы ваша проповедь оказалась неудачной... Однако случилось невероятное: ваша проповедь была просто прекрасна... правда, выбранная для нее цитата больше, чем ваша речь, заставляла меня плакать; ведь там говорилось: «Ты оставишь отца твоего и мать твою, чтобы следовать за мужем твоим», а расстаться с отцом и матерью мне представлялось самым большим несчастьем...

Когда вы заканчивали проповедь, меня тронули до слез и цитата из Писания и ваша речь, потому что, повторяю, вы были действительно красноречивы, но я сердилась на вас за то, что вы выбрали такую тему...

Поэтому-то я и вышла первой и, несмотря на настойчивые увещания матери, решительно не хотела подождать вас.

Вот чем объясняется мое молчание при вашем возвращении; десять раз одолевало меня желание сделать вам комплимент, но у меня на это не хватило смелости.

Когда вы вышли вместе с моей матушкой – я ведь должна сказать вам все, не правда ли? – когда вы вышли вместе с моей матушкой, я поднялась, подошла к отцу, поцеловала его в лоб; затем я встала перед ним на колени и, скрестив руки на груди, сказала ему: «Не правда ли, добрый мой отец, вы не потребуете от дочери, чтобы она вышла замуж за человека, которого не любит и который сделает ее несчастной?»

– О Дженни, Дженни! – вырвалось у меня.

– Подождите же! – успокоила меня девушка, обворожительно улыбувшись. – Вы мне сказали все, позвольте же и мне вам сказать все!

Мой отец добр, он любит меня; он мне ответил: «Дитя мое, ты выйдешь замуж только за того, кого выберешь сама».

И тогда я бросилась ему на шею и поцеловала его с еще большей нежностью, чем в первый раз.

В эту минуту вы и вернулись вместе с матушкой и она объявила, что вы любите другую женщину и собираетесь на ней жениться.

Услышав эту добрую весть, я почувствовала, что сердце мое словно улыбнулось; я захлопала бы в ладоши и запрыгала от радости, если бы осмелилась... Но, во всяком случае, я была теперь вольна снова стать самой собой и бросилась прочь из гостиной, чтобы поскорее добраться до моей комнаты и скинуть мой противный наряд; и вот, по мере того как я стряхивала пудру с волос, снимала платье и швыряла туфли на высоких каблуках в другой конец комнаты, вы стали казаться мне куда более красивым, куда более любезным, куда более красноречивым, нежели час тому назад...

Мне вспомнилось, что цитату, взятую вами для проповеди, я читала в Библии, а раз она была из Библии, меня уже не удивлял ваш выбор.

Потом я спустилась, уже ничем не стесненная, радостная, с легким сердцем; я снова увидела вас в гостиной и сказала себе, что была к вам несправедливой: мне показалось, что вы

способны любить моих птиц и мои цветы, тени ив и прогулку по берегу ручья, и я сказала вам: «Пойдемте!» – и вы пошли со мной.

Тогда, как будто я уже была знакома с вами добрый десяток лет, я рассказала вам о моих удовольствиях, моих радостях, моей жизни; вы покормили моих кур, приласкали Фиделя, поцеловали мою славку и сели рядом со мной, вдыхая запахи луга, и я вас уже не только не боялась, но и любила вас как брата... Теперь вы спрашиваете, могу ли я любить вас иначе... Я затрудняюсь ответить, ведь я до сих пор знала только моих родителей и видела только крестьян этой деревни – мне совсем неведома любовь.

Но вот вы, вы, такой образованный, вы отлично поймете, люблю ли я вас... вы мне скажете об этом и, хотя вы один раз меня обманули, я постараюсь вам поверить...

– О Дженни, Дженни! – воскликнул я. – Вы ангел искренности!.. Да, вы полюбите меня, как вас люблю я!

– Ничего большего я и не прошу, – ответила девушка, протягивая мне отнятую перед этим руку.

И я снова коснулся ее губами, но на этот раз мой поцелуй вовсе не был неожиданностью.

Поэтому я почувствовал, как ее рука, бесчувственная при первом поцелуе, на этот раз вздрогнула.

– Возвратимся, господин Бемрод, – промолвила Дженни, – пожалуй, после всего только что сказанного нами мне хочется обнять мою матушку...

И мы пошли бок о бок, не говоря друг другу ни слова – столь полны были наши сердца!

XX. Испытание

В гостиную я вернулся один.

Встретив во дворе мать, Дженни поцеловала ее нежно и рассеянно, удивив тем самым добрую женщину, а затем пошла в свою комнату, где оставалась до самого обеда.

И – странное дело! – ее отсутствие едва ли не обрадовало меня; если Дженни и удалилась, то, как подумалось мне, не для того чтобы избежать моего общества, а наоборот, для того чтобы мысленно побыть наедине со мной; ей захотелось вновь увидеть ту комнатку, о которой я ей говорил, и, быть может – тут мое сердце поспешило предположить нечто лестное для себя, – и, быть может, она в свою очередь искала взглядом мое окно, точно так же как я искал взглядом ее окошко.

Я же тем временем, чувствуя свой ум свободным от забот, а сердце полным радости, беседовал с ее отцом... О чем именно? Сейчас скажу, дорогой мой Петрус: о людях, таких добрых, каких я не встречал никогда прежде; о природе, никогда прежде не казавшейся мне столь прекрасной; о Боге, никогда прежде не представлявшемся мне столь великим.

И старик слушал меня с нежным удивлением, порой тихо покачивая головой со словами: – О молодость! О молодость!..

Как долго я говорил так, преисполненный чувств, вдохновенный, красноречивый? Не знаю: во мне бурлил неиссякаемый источник благодарности ко Всевышнему, сделавшему для меня жизнь столь сладостной и легкой.

Наконец, вернулась добрая г-жа Смит.

Увидев ее, я испытал огромное желание обхватить обеими руками ее шею... Быть может, потому, что так ее обнимала Дженни.

Госпожа Смит пришла сказать, что обед подан.

Мы прошли в столовую.

– А где же Дженни? – спросил г-н Смит. Его супруга огляделась.

– Не знаю, – сказала она, – наверное, в своей комнате... Простите, господин Бемрод, маленькую дикарку, не вышедшую к нам.

О дорогая Дженни! Как охотно я тебя простил!

В эту минуту я услышал ее едва уловимые шаги на лестничных ступенях и шуршание платья, касавшегося перил; мне подумалось, что мой взгляд заставит ее покраснеть, как только она появится в столовой, и поэтому буквально за секунду до ее появления отвернулся.

О возвышенное наитие любви! Она поняла меня и поблагодарила взглядом.

Дженни села напротив меня, ее мать справа от меня, а отец – слева.

И тут мне снова пришло на ум: если я буду на нее смотреть, мой взгляд ее смутит, а если я буду молчать, мое молчание станет для нее тягостным.

Поэтому я начал разговор; говорил я о вещах самых посторонних, но в интонации моего голоса читалось:

«Дженни, любимая моя Дженни, если не мои глаза, то сердце мое вглядывается в тебя!.. Дженни, любимая моя Дженни, если не мой голос, то сердце мое говорит: „Я тебя люблю!“»

Прекрасная девушка поняла и этот взгляд, и это признание моего сердца; ее молчание как бы говорило мне взволнованно:

«Я тебя слушаю, я тебя слышу, я тебя понимаю!»

И поскольку молодость и старость говорят на разных языках, родители Дженни ничего не увидели, ничего не услышали; правда, время от времени г-н Смит поглядывал на супругу с многозначительной улыбкой.

– Ну, что, мать, – произнес он, наконец, – не находишь ли ты, что наш обед заслуживает больших похвал, нежели завтрак; что мы все сейчас чувствуем себя естественнее, свободнее;

что мы все сейчас более радостны, не исключая Дженни, которая этим утром, кажется, хотела закрыть глаза, чтобы не видеть нашего дорогого гостя, заткнуть уши, чтобы его не слышать, а теперь смотрит на него снизу вверх и ловит каждое его слово?

Дженни опустила глаза и покраснела так, что роза в ее волосах, казалось, побледнела.

– И отчего же это все? – продолжал старик. – Оттого, что мы объяснились, оттого, что каждый из нас думает, говорит и поступает искренне.

– Это правда, отец, – согласилась г-жа Смит, – чего ты хочешь: я словно сошла с ума!

– Дженни, – обратился к дочери старик, – ты тоже придерживаешься мнения твоей матери? Тебе уже не по себе в обществе господина Бемрода с тех пор, как ты узнала намерения нашего дорогого соседа?.. Так отвечай же!

– Да, дорогой папа, – пробормотала Дженни. – Но разве вы не изъявляли желания, чтобы я спустилась в погреб за бутылкой старого кларета,²²⁸ которую вам прислал граф Олтон в свой последний приезд?

– Ей-Богу, твоя правда, Дженни, и я не могу понять, как это я забыл по-праздничному встретить нашего дорогого соседа... Иди, Дженни, иди... и мы выпьем за невесту ашборнского пастора.

Вставая из-за стола, Дженни слегка покачнулась.

– Ну же, ну же! – продолжал старик. – Ведь на ногах твоих уже нет тех проклятых туфель без задника, из-за которых ты спотыкалась... Так что иди, дитя мое, иди!

Дженни вышла, но перед этим глаза наши встретились.

В своем взгляде я послал ей мое сердце; она скрестила руки на груди и ушла, не закрыв за собой дверь, покачивая головой, словно растерянная нимфа.

– Э, да что происходит с нашей девочкой? – встревожилась мать.

– Что с ней происходит? – подхватил пастор. – Хорошенький вопрос! Она все еще взволнована твоими утренними намерениями, за которые я еще раз прошу у вас прощения, мой дорогой коллега... Но не стоит за это сердиться на нее, на это дорогое мне Божье создание: это я допустил ошибку, рассказав ей о вас слишком много хорошего... Ладно, ладно, женошка, не надо краснеть по такому поводу: каждая мать, любящая свою дочь, желает ей счастья, и ты сказала себе: «Моя Дженни будет счастлива, если станет женой господина Бемрода!» И поверьте, дорогой сосед, моей Дженни вовсе не стоит пренебрегать, ведь, осмелюсь теперь сказать, это доброе, чудное дитя, и, кто бы ни был ее супругом, он будет сжимать в своих объятиях честное и чистое существо... Если ее мужем станете не вы, я буду об этом искренне сожалеть... Однако, хватит говорить об этом и простите нас.

Произнося эти слова, старик протянул мне руку. Я почувствовал, что больше не в силах хранить мой секрет: сердце мое было переполнено.

Я взял руку пастора и, поднося ее к губам, воскликнул:

– Отец мой, это я прошу вас простить меня! Я вас обманул, я вам солгал, когда сказал, что люблю другую женщину... Женщина, которую я люблю, это Дженни, это ваша дочь! И люблю ее так сильно, что, если вы откажете мне в ее руке, я этого не переживу!

Мать вскрикнула и привстала.

– О Боже! – воскликнула она. – Да что это он такое говорит?

– Прекрасно! – сказал пастор. – Вот это совсем другое дело!.. Так это мою дочь вы так любите, что умрете, если мы вам откажем?

– О, на этот раз я не лгу... На этот раз я говорю вам истинную правду!

– И вы ей что-то сказали об этой перемене во время вашей прогулки?

– Кое-что... да... – пробормотал я в ответ.

²²⁸ Кларет (клерет) – бледно-красное столовое вино; в Англии принято называть кларетом любые красные вина, в особенности бордоские.

- И как она это приняла?
- Она сказала мне, что еще меня не любит, но не будет делать ничего такого, что помешало бы ей полюбить меня.
- О отец, отец!.. – воскликнула г-жа Смит. – Это же соизволение Божье!
- Ну-ка, помолчи, жена! Все это слишком серьезно.
- Дайте слово, мой дорогой Бемрод, что вы ни словечком не обмолвитесь Дженни о том признании, которое вы только что нам сделали...
- Но, дорогой господин Смит...
- Ваше честное слово...
- Даю его вам.
- А теперь – обещание.
- Какое же?
- Что вы в течение недели не будете навещать нас и не будете пытаться заговорить с Дженни.
- Да ведь она подумает, что я ее разлюбил!
- Позволяю вам сказать, что таково было наше требование.
- Но к чему столь долгое отсутствие после всего того, что я сказал ей о моей любви?
- Да ведь вы сейчас сами заявили, будто сказали ей лишь кое-что!
- Простите... простите... я сделаю все, что вы пожелаете.
- Тсс! Идет Дженни!

И правда, я услышал ее приближающиеся шаги, а вскоре появилась и она сама, держа в руках бутылку, послужившую предлогом для ее отсутствия – отсутствия, во время которого было так много сказано!

- Итак, дорогой господин Бемрод, – неожиданно произнес г-н Смит, – теперь вы признаетесь, что Лейбницу предпочитаете Локка?²²⁹
- Нет, – пробормотал я озадаченно, – такого я не говорил...
- Значит, наоборот, это Лейбницу вы отдаете предпочтение перед Локком?
- Такого я тем более не говорил...
- Однако необходимо стать на сторону или того или другого, – продолжал г-н Смит, забавляясь моим замешательством.
- Трудно, – ответил я, – сделать выбор между двумя людьми, из которых один был назван мудрецом, а другой – ученым.

– О, вовсе не об их личных достоинствах спрашиваю я вас; речь идет о нравоучительном смысле двух философских систем. Локк в своем «Опыте о человеческом разуме»²³⁰ отвергает гипотезу о врожденных идеях; он рассматривает душу с момента ее рождения как чистую доску; все наши идеи, по Локку, проистекают из опыта по двум каналам – через ощущение и через размышление. Лейбниц, напротив, утверждает, что в человеке душа и плоть не живут одна без другой, что между этими обеими субстанциями существует гармония столь совершенная, что каждая из них, развиваясь согласно присущим ей закономерностям, претерпевают изменения, которые в точности соответствуют изменениям другой. Это и есть то, что, как вам известно, он называет предустановленной гармонией. Он не только говорит вместе со школь-

²²⁹ Локк, Джон (1632–1704) – английский философ, просветитель и материалист, политический мыслитель (создатель политической доктрины либерализма) и естествоиспытатель, член Лондонского королевского общества; разработал эмпирическую теорию познания.

²³⁰ «Опыт о человеческом разуме» («An essay concerning human understanding»; 1690) – основное сочинение Локка, в котором он изложил свою теорию познания. Локк отрицал существование каких-либо врожденных идей и принципов и доказывал, что все человеческое знание проистекает из опыта, что представления и понятия возникают в результате воздействия предметов внешнего мира на органы чувств человека.

ной истиной: «Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu²³¹», но и присовокупляет к сказанному: «Nisi ipse intellectus²³²». Хорошо ли вы чувствуете всю важность этого «Nisi ipse intellectus»?

Я, дорогой мой Петрус, очень хорошо понимал, а тем более в такой момент, важность завязавшейся между мной и пастором Смитом дискуссии о материализме²³³ и фатализме²³⁴ Локка, с одной стороны, и спиритуализме²³⁵ Лейбница – с другой, дискуссии, продлившейся до обеда и давшей Дженни полную возможность думать о том, что ее волновало.

К тому же, хотя мы и осушили бутылку кларета, все забыли поднять тост за здоровье будущей супруги пастора Бемрода.

После обеда, когда г-н Смит отдыхал или делал вид, что отдыхает, а г-жа Смит занималась домашними делами, я подошел к Дженни.

Она показалась мне слегка недовольной. Наверное, ей показалось неучтивым, что в ее присутствии философствовали.

– Дорогая Дженни, – прошептал я вполголоса, – позвольте мне сказать: есть одна вещь, которую мне очень хотелось бы увидеть и которую вы забыли мне показать.

– Что это за вещь? – спросила Дженни.

– Это комнатка с белыми занавесями, с мебелью, обтянутой кретоном²³⁶ в розах... Уж не думаете ли вы, что мне не любопытно рассмотреть во всех подробностях то святилище, где вы молились Богу, сотворившему вас столь милой, столь доброй, столь любящей, и все это для моего счастья, хочется надеяться?..

– Мой дорогой сосед, – отвечала она, – вы, кто знает так много, знаете и о том, что мужчине не следует переступать порог комнаты, где живет девушка, если только этот мужчина не приходится ей братом или женихом.

– Вот-вот! Разве вы мне не говорили, что уже любите меня как брата и не станете препятствовать собственному сердцу, если ему вздумается полюбить меня по-иному? Только подумайте, дорогая Дженни, что мне предстоит целую долгую неделю прожить, видя вас лишь через эту благословенную подзорную трубу, – а это, увы, слишком недостаточно для меня с тех пор, как я увидел вас вблизи и столь о многом с вами разговаривал!

– Целую неделю мы не будем видеться? – спросила Дженни, остановив на мне свои удивленные прекрасные глаза. – Это почему же?

– Потому что ваш отец заставил меня дать такое обещание.

– Но с какой целью?

– Спросите отца об этом сами и постарайтесь его уговорить, чтобы он вернул мне мое слово, поскольку, клянусь вам, Дженни, неделя – это чересчур долго!.. Вот почему, дорогая Дженни, я хотел бы вас видеть не только издалека в вашем окошке, где вы появитесь всего лишь несколько раз, не так ли? Вот почему я хотел бы вас видеть не только телесным взором, но также, если окошко будет закрыто, духовным взором...

– Пусть будет так, – сказала она, – но с разрешения матушки.

²³¹ Нет ничего в разуме, чего прежде бы не было в чувствах (лат.)

²³² Вот контекст этого высказывания Лейбница: «Tabula rasa, о которой так много говорят, по моему мнению, есть не что иное, как изобретение фантазии. Нужно противопоставить тому положению, что в нашей душе нет ничего, чтобы к ней не приходило от чувств, другое положение: „Nihil ipse in intellectu quod non fuerit in sensu, excipe nisi ipse intellectus“ (кроме самого разума). Следовательно, душа содержит в себе бытие, субстанцию, единое, тождественное, причину и множество других представлений, которыми чувства не могут снабдить ее».

²³³ Материализм – философское направление, исходящее из представления о единстве материального мира, первичности материи, существующей вне нашего сознания, которое от него производно.

²³⁴ Фатализм (от лат. *fatalis* – «роковой») – вера в неотвратимость судьбы, в ее предопределение, в рок.

²³⁵ Спиритуализм (от лат. *spiritualis* – «духовный») – философское воззрение, принимающее дух, особую бестелесную субстанцию, независимую от материи, в качестве первоосновы действительности.

²³⁶ Кретон – плотная, жесткая хлопчатобумажная ткань с цветным узором, используемая для обивки мебели и драпировок.

И подойдя к доброй женщине, возвратившейся на цыпочках, чтобы не разбудить г-на Смита, который, быть может, и не спал, Дженни тихо сказала матери несколько слов, а г-жа Смит ответила в полный голос, подняв глаза к Небу:

– Действуй, дитя мое, действуй... Твой отец, а он – сама мудрость, разве не сказал сегодня утром: «То, что входит в намерения Всевышнего, исполняется всегда независимо от вмешательства или невмешательства человека»?

Госпожа Смит подошла к нам и поцеловала Дженни в лоб.

– Идите, – сказала она, – раз вы хотите видеть комнату вашей сестры, ваша сестра покажет ее вам.

Я последовал за Дженни, и, когда я выходил, мне показалось, что пастор Смит приоткрыл один глаз и обменялся взглядом с женой.

XXI. Конец моего романа

Эта комната была та самая, которую я видел издали и о которой грезил, даже не видев ее: то было настоящее лебединое гнездо.

Я поочередно поприветствовал все предметы обстановки – кретоновые занавеси с розовыми цветами, бело-голубые фарфоровые вазы.

Занавеси кровати я поцеловал.

Дженни смотрела на мои действия то смеясь, то улыбаясь: я был первый посторонний мужчина, вошедший в ее комнату.

В открытое окно вливались пылающие лучи прекрасного заходящего солнца; почти горизонтальные, они проникали в глубь комнаты и, отражаясь до бесконечности в зеркале, словно разбивали его вдребезги.

Девушка села у окна и, не говоря ни слова, оглядела горизонт.

Там лежала деревня Ашборн.

Среди всех тех далеких окон, которые с любопытством рассматривала Дженни, я узнал окно моей комнатки, открытое так же, как окно Дженни.

Хотя она ни о чем меня не спросила, я сказал ей, указывая рукой:

– Вот оно – то, что сплошь покрыто виноградной лозой.

Она улыбнулась:

– Это очень далеко для тех, у кого нет подзорной трубы...

– Я бы передал вам свою, Дженни, но, поверьте, при этом я потеряю слишком много!

– О, это не имеет значения, – откликнулась она, – у меня острое зрение, и я увижу вас, когда вы покажетесь в своем окне.

– Дженни, вот уже пять дней, как я только там и находился, а в течение недели, когда мне запрещено приходить сюда, я нигде больше и не буду.

– Посмотрим, – сказала Дженни.

– Это означает, дорогая моя возлюбленная, – воскликнул я, – что и вы сами будете у своего окна?..

– Разве я живу не в этой комнате? – улыбнулась девушка. – Если только матушка не возьмет меня во второй раз в Честерфилд, чтобы приобрести для меня другой наряд...

– О Дженни, надеюсь, ей не понадобится ехать в Честерфилд, чтобы его заказать: белое платье и венок из флёрдоранжа²³⁷ можно найти где угодно.

– Стоп, господин мой брат! – остановила меня Дженни. – Вы говорите о нашем браке, словно я уже дала на него свое согласие...

– Это правда, – пришлось согласиться мне, – я забыл, что имею право о чем-либо просить только через неделю.

– И вы так уверены, что через неделю получите ответ?

– Дженни, – сказал я ей с мольбой и в голосе, и во взгляде, – я на это надеюсь!

– И поскольку надежда – одна из трех христианских Добродетелей,²³⁸ я вовсе не хочу отнимать ее у вас.

– О Дженни, Дженни! – вскричал я, беря ее за руку. – Как вы добры и как я вас люблю!

Дженни, высвободив свою руку, поднесла указательный палец к устам.

²³⁷ Флёрдоранж (фр. fleur d'orange) – здесь: искусственные цветы померанцевого дерева, которые служат в ряде стран принадлежностью свадебного убора невесты; символ невинности.

²³⁸ В католицизме определяется значительное количество добродетелей. Здесь имеются в виду т. н. «теологические добродетели»: вера, надежда и любовь к ближнему.

– Тихо, господин мой брат, – сказала она, – эта комната не должна слышать подобные слова, и, поскольку, как я понимаю, вы за себя не отвечаете, пожалуйста, спустимся в гостиную. Впрочем, время уже позднее; с сегодняшнего утра вы не видели своих прихожан, а ведь кто-нибудь из них может нуждаться в вашей помощи.

Девушка сказала правду: я забыл даже час, до которого мне можно было оставаться в Уэрксуэрте.

Я вздохнул, глазами и сердцем попросился с каждым предметом в этой комнате и вышел.

У пастора как раз закончился его полуденный отдых, а г-жа Смит завершила свои дела по хозяйству; оба ожидали меня в гостиной.

Так же как их дочь, они явно полагали, что мне пора удалиться.

Впрочем, даже в состоянии счастья бывают минуты, когда человек испытывает потребность остаться наедине со своими мыслями.

Прощаясь, я обнял пастора и его жену и поцеловал руку их дочери.

Господин и госпожа Смит проводили меня до двери, напутствовав словами:

– Через неделю!

Я искал глазами Дженни, чтобы и ей сказать – если не голосом, то хотя бы взглядом – «Через неделю!», но она скрылась.

Первым моим чувством была досада, я почти готов был обвинять ее.

Мы расставались на целую неделю, а Дженни не побывала со мной до момента моего ухода!

Неужели у нее нашлось более срочное дело, чем сказать мне: «До свидания»?!

Я громко вздохнул и тихо прошептал:

– О Дженни, Дженни! Неужели ты не могла уделить мне еще хотя бы минуту, хотя бы секунду?! Минута радости так драгоценна! Секунда счастья – такая редкость!

Неожиданно я хлопнул себя по лбу, распрямил грудь, на губах моих вновь заиграла улыбка, и я ускорил шаг.

Я торопился уйти, я спешил обогнуть угол дома и выйти на главную дорогу!

Ко мне вернулась надежда!

Дженни рассталась со мной, чтобы подняться в свою комнатку; Дженни должна сидеть у своего окна.

О, как забилося мое сердце, когда я обернулся!.. Если только ее там нет!..

Но, слава Богу, она там была.

Я так восторженно от радости и с таким пылом протянул к ней руки, что она отшатнулась от окна.

Я застыл на месте, умоляюще скрестив руки на груди.

Дженни осторожно снова подошла к окну.

Солнце уже почти скрылось за горизонтом; его последний луч упал прямо на девушку, образовав вокруг нее огненный ореол и облачив ее в золото.

Дженни и сама не подозревала, насколько она была прекрасна в эту минуту.

Она была похожа на одну из тех отправляющихся на Запад католических девственниц, что изображали итальянские художники шестнадцатого века.²³⁹

²³⁹ Возможно, здесь имеется в виду легенда о святой Урсуле и ее спутницах. Урсулу, дочь короля Британии, потребовал себе в жены некий языческий государь; девушка попросила отсрочку на три года для поклонения святым местам и вместе с одиннадцатью тысячами девственниц, явившихся к ней со всех концов света и обращенных ею в христианскую веру, отправилась в Рим. На обратном пути, когда они пришли в Кёльн, всех их замучили гунны, осаждавшие тогда этот город. В живописи эта легенда нашла воплощение в серии из девяти картин итальянского художника Витторе Карпаччо (1450–1525) «Легенда о святой Урсуле».

Я возблагодарил Господа за то, что он дал мне возможность принадлежать к реформатской церкви;²⁴⁰ я возблагодарил его и за то, что он даровал мне возможность обладать этим бесценным сокровищем.

Дженни, улыбаясь, знаком велела мне продолжить путь.

Если бы не этот знак, я так и стоял бы на месте, забыв обо всем на свете в созерцании ее нежного лица.

И я тронулся в путь, но можно было бы сказать, что у меня, как у бога Меркурия,²⁴¹ на пятках выросли крылья и что эти крылья влекли меня назад.

Солнце село; наступили сумерки, а затем и ночь.

Надеясь еще раз увидеть Дженни в окне, я оборачивался; и, даже когда все уже давно растворилось в сероватом свете первых сумерек, я все еще оглядывался назад.

Я уже не видел Дженни, но угадывал ее в окне.

Был один из тех теплых вечеров начала июля, когда слышишь, если можно так сказать, как бьется сердце природы, когда в мире все поет – малиновка в кустах, кузнечик – среди колосьев, а сверчок – в траве.

И у меня в сердце какая-то птица тоже пела ликующую песню – называлась эта птица счастьем.

Не знаю, переживали ли Вы такие мгновения, дорогой мой Петрус, но тогда мне верилось, что боль навсегда изгнана с земли, и я не представлял себе, как это можно страдать.

Я вернулся в мой пасторский дом.

О, на этот раз он уже не казался мне пустынным и даже темным: передо мною шло нежное видение, наполнявшее его собою и освещавшее его.

Оно весело поднималось по ступенькам, что вели к моей комнате; я ступил туда вслед за ним, а затем оно, похоже, улетело через окно и в его обиталище на горизонте можно было увидеть свет, мерцавший как живая звездочка в ночи, которой я, новоявленный Коперник, новоявленный Галилей, новоявленный Ньютон, дал нежное имя Дженни.

Поняв, что я вижу ее, а она меня не видит, я в свою очередь зажег свечу и в то же самое мгновение заметил, что моя звездочка стала двигаться.

Мне показалось, что она прочерчивает какой-то вензель в ночной темноте; я ответил ей, сплетя из недолговечных огненных знаков инициалы двух наших имен, после чего моя звезда, как мне показалось, поднялась в небо и скрылась там как символ моей веры, восходящей к Богу!

Дорогой мой Петрус, я не стану излагать Вам хронику этой недели – это значило бы повторить все то, что я Вам уже рассказал.

Утром, установив подзорную трубу, я ожидал появления Дженни; поскольку она догадалась, что я стою на своем посту, она помахала мне белым платком: то был целомудренный привет, убеждавший меня, что я не забыт!

Вечером наше небо озарилось, и как же много мы сказали друг другу, двигая зажженные свечи!

Мне казалось, эта неделя не кончится никогда и, однако, скажу без колебаний, что эти дни были самыми приятными, самыми сладостными, самыми таинственными из всех дней, какие я когда-либо пережил.

За эту неделю, как я заметил, дорогой мой Петрус, в моем приходе никто не умер, родилось два ребенка и две молодые пары сочетались узами брака.

²⁴⁰ Имеется в виду англиканская церковь

²⁴¹ Меркурий – римский бог торговли, в III в. до н. э. отождествленный с греческим Гермесом, божеством, первоначально воплощавшим могучие силы природы, а позже ставшим покровителем путешественников, торговцев, атлетов и воров, проводником душ умерших в подземное царство. Меркурий – Гермес был также вестником верховного бога-громовержца Зевса (рим. Юпитера). В этом качестве он изображался в шапочке с крылышками и в крылатых сандалиях.

Можно сказать, мое счастье распространилось и на тот мирок, куда Провидение послало меня служить пастором.

С какой радостью, с какой благодарностью и верой в Бога я исполнял в это время все свои пасторские обязанности, ставшие такими легкими для меня в это время! С какими благими словами я открывал жизнь тем детям, что были приобщены мною к христианству! Какие долгие и счастливые дни обещал я тем молодым людям, кого называл супругами!

Наконец эта неделя истекла; оставалось только несколько дневных часов и одна ночь перед тем мгновением, когда передо мной снова откроются двери моей Дженни.

Затем наступил долгожданный день, и до встречи с ней оставались лишь считанные минуты.

Только начало светать, как я отправился в путь; но, услышав, как часы на ашборнской колокольне прозвонили пять утра, я, как Вы прекрасно понимаете, возвратился домой.

Тогда свою роль сыграла подзорная труба, но, то ли Дженни еще не встала, то ли ей еще предстояло сказать мне в этот день слишком многое, она окно не открыла, и даже занавески на нем были плотно сдвинуты.

Я дождался семи утра.

Что означало это отсутствие, отсутствие конечно же добровольное? Не для того ли это, чтобы беспокойство ускорило мой визит?

Задавая самому себе подобные вопросы, я снова отправился в дорогу.

Проходя эти две длинные мили, я ни на одно мгновение, ни на один миг не отводил глаз от моей цели!

Занавешенное окно Дженни не переставало быть моим горизонтом; нередко я видел его словно сквозь облако, так упорно и пристально я смотрел.

Дженни в окне так и не появилась.

Только один-единственный раз мне показалось, что занавеска слегка дрогнула, словно ее кто-то чуть-чуть отодвинул, но тут же возвратил на место.

Я ускорил шаг.

Сердце мое колотилось с такой силой, что я слышал его биение.

Вот я обогнул угол дома, вот я дошел до калитки, протянул дрожащую руку, чтобы постучать...

Тут дверь сама открылась и на пороге появились улыбающиеся пастор Смит и его супруга.

Радость моя была столь велика, что я остановился, всем своим естеством чувствуя нечто вроде головокружения.

Я попытался заговорить, но голос мой застрял в пересохшем горле.

Пастор понял, что со мной происходит.

– Добро пожаловать, сын мой, – сказал он, – твоя мать и я, мы оба ждали тебя на пороге дома, чтобы проводить к твоей невесте.

У меня вырвался крик радости; в глубине коридора я заметил Дженни, оробевшую, с румянцем на щеках; отстранив ее родителей, я бросился к девушке и, не подавая голоса, почти теряя сознание, упал перед ней на колени.

Она наклонилась ко мне и, приподняв меня, сама слишком взволнованная, чтобы вымолвить хотя бы слово, подставила мне свой лоб для поцелуя.

Наконец, я снова обрел голос и от всей души воскликнул:

– Всемогущий Бог, будь благословен за дарованную тобой милость!

Месяц спустя Дженни стала моей женой.

XXII. Начало моей истории

В жизни любого человека есть час высшей радости, когда, чувствуя, что Господь не может дать ему больше, он молит его уже не о том, чтобы он ниспослал ему счастье, а о том, чтобы он отвратил от него беду.

С такой молитвой обратился и я ко всемогущему Богу в тот день, когда повел в церковь мою возлюбленную Дженни.

Узами брака сочетал нас сам достойный пастор Смит, и он произнес перед нами те же слова, какие пятью неделями ранее я избрал в качестве темы для моей проповеди: «И Господь сказал Рахили: „Ты оставишь отца твоего и мать твою и последуешь за мужем твоим“».

Быть может, голос доброго пастора был бы более взволнованным и менее мягким, если бы разлука, на которую он намекал, была более реальной.

Грозящая ему разлука с дочерью по сути не была трагической – ведь, если бы она стала слишком тягостной, хватило бы сорока пяти минут ходу, чтобы ее прервать.

Я возвратился как сын в пасторский дом Смитов, где некогда был принят как друг; я как супруг снова вошел в ту целомудренную комнату, куда некогда вошел как брат.

Мы условились, что уже на следующий день я в свою очередь буду принимать у себя мою возлюбленную Дженни.

С тех пор как наш брак стал делом решенным, я готовился принять ее.

Для моей жены я предназначил ту расположенную со стороны равнины очаровательную солнечную комнатку, которая прежде служила мне кабинетом и из окна которой я впервые увидел Дженни.

Приняв такое решение, я задумал преобразить комнатку так, чтобы она стала достойна новобрачной, и, призвав на помощь себе все то, чему мой бедный отец смог научить меня в области рисунка и живописи, расписал в технике фрески эту комнатку в духе французских художников, то есть изобразил на стенах гирлянды цветов и плодов, алтари Гименея,²⁴² воркующих голубей и, наконец, все приличествующие случаю эмблемы.

Для меня эта затея отнюдь не была пустячным делом, и работа оказалась длительной и трудной; к счастью, пользуясь темперой,²⁴³ я мог, по примеру декораторов, трудиться ночью; день я целиком посвящал моим пасторским обязанностям и визитам к Дженни.

Правда, порой бывало и такое: проработав кистью часть ночи, я ложился спать, вполне удовлетворенный собственной работой, а проснувшись на следующий день, с удивлением замечал, что использовал зеленый цвет вместо голубого, желтый – вместо белого *et vice versa*;²⁴⁴ в таких случаях приходилось все начинать заново, и я так и поступал, чтобы довести до совершенства дело, затеянное ради Дженни – это поддерживало меня в моем долгом, но приятном труде.

Накануне нашего бракосочетания я нанес последние мазки на алтарь Гименея и на весело порхающих над ним двух голубков; придав окончательный блеск моим цветам и плодам, я, весьма довольный собой, заранее предвкушал радостное изумление и благодарность моей дорогой Дженни, когда она откроет у меня дотоле неизвестный ей талант и увидит, что он посвящен моему желанию быть ей приятным.

²⁴² Гименей – божество брака в древнегреческой мифологии, сын Диониса и Афродиты (по другой версии, Аполлона и одной из муз); изображался в виде юноши с факелом и венком в руках; в литературе символизировал законный брак.

²⁴³ Темпера – живопись красками, связующим веществом которых служат эмульсии – натуральные (цельное яйцо, желток, соки растений) или искусственные (водный раствор клея с маслом и т. п.)

²⁴⁴ И наоборот (лат.)

Недостающую мебель заказали в Ноттингеме: миленькое плетеное канапе,²⁴⁵ из тростника, обтянутое белым канифасом²⁴⁶ два кресла с обивкой в цветах и маленький туалетный столик, копия находящегося в спальне в Уэрксуэрте.

Что касается пола, то это был новый паркет из сосновых дощечек, неизменную чистоту которых можно было поддерживать при помощи посыпанного песка.

Должен сказать, что, не получив еще первой четверти доходов от моего пасторского служения, для всех моих необходимых покупок я был вынужден прибегнуть к любезности моего бывшего хозяина-медника, который самым искренним образом порадовался счастью, выпавшему на мою долю, и тотчас предоставил свой кошелек в мое распоряжение.

Как Вы и сами прекрасно понимаете, дорогой мой Петрус, я отнюдь не злоупотребил его доверием и на необходимейшие приобретения истратил не больше шести гиней.

Но я обещал Вам, дорогой мой Петрус, описать самого себя таким, каков я есть.

Не знаю, что за ложный стыд удержал меня в день бракосочетания, но я не осмелился пригласить этого славного человека на свадебную церемонию – упущение, о котором он никогда не упоминал и которое он с его необычайной скромностью безусловно считал вполне естественным.

Нельзя сказать того же обо мне; не раз упрекал я себя за эту оплошность, не имея мужества исправить ее.

И вот дом был готов принять свою новую хозяйку.

Уже неделю дочь школьного учителя натирала мебель, чистила кухонную утварь и выбивала пыль из занавесей; во все горшки и графины были поставлены цветы, а окна с раннего утра – открыты, чтобы воздух, свет и запахи проникли в самые темные углы комнат.

Мы с Дженни обняли доброго г-на Смита и его жену; затем мы пошли через задний двор, чтобы попрощаться с нашими курами, утками и голубями; мы отвязали Фиделя, чтобы он сопровождал нас в пути и стал свидетелем нашего счастья; мы дошли до сада; на прощание Дженни поцеловала розы, своих сестер, и мне показалось, что розы тянулись к ее устам точно так же, как ее уста – к ним; следуя позади Дженни, я в свою очередь целовал те цветы, которых уже коснулись губы моей возлюбленной.

Так мы достигли границы сада.

Славка укрылась в гуще его зелени со всем своим крылатым семейством; пять птенцов взмахивали крылышками и перескакивали с ветки на ветку вокруг матери.

Затем перед нами открылся луг; мы пошли той же самой дорожкой, что и пять недель тому назад; узнав то место под большой ивой, где я признался Дженни в любви, и, проведя ее туда, я снова стал перед ней на колени, только на этот раз из моих уст прозвучало уже не признание, а клятва – то была клятва, шедшая от моего сердца, клятва любить ее всегда!

Таким образом, мы, избранники судьбы, вновь прошли той светлой дорогой счастья, какую редко проходят дважды, и на этой дороге отыскивали столь быстро стирающийся след – след шагов счастливого человека.

В саду я целовал цветы, которых касались уста Дженни, а здесь я целовал землю, по которой ступала ее нога.

Затем, воспользовавшись стволом дерева, этим шатким мостиком, перекинутым через ручей, мы перешли с одной его стороны на другую и, обойдя вокруг дома, вышли на дорогу.

Исполненные радости, мы шагали бок о бок, и рука Дженни опиралась на мою, как вдруг раздавшийся позади нас стук каретных колес привлек наше внимание. Мы отступили к обочине дороги, чтобы не стоять на пути у этой кареты, но она, поравнявшись с нами, останови-

²⁴⁵ Канапе – небольшой диван с приподнятым изголовьем.

²⁴⁶ Канифас – плотная, мягкая, главным образом хлопчатобумажная ткань, обычно с рельефными полосками.

лась, и две головы, просунувшись в одно окошко, произнесли: одна – «Дженни!», а другая – «мисс Смит!»

Я не знал никого из этих людей, но Дженни знала их.

То были сорокалетний мужчина и молодая женщина, едва достигшая половины этого возраста.

Молодая женщина оказалась той самой мисс Роджерс, чьи платья послужили образцом для г-жи Смит, когда она заказывала для Дженни тот наряд, который чуть не загубил наше едва забрезжившее счастье.

А сорокалетний мужчина оказался г-ном Стиффом, управляющим графа Олтона.

Во всем облике молодой женщины чувствовалась какая-то чопорность, напыщенность и высокомерие.

В ее сорокалетнем спутнике я сразу же заметил все оттенки самодовольства и глупости – от самых легких до самых насыщенных.

Он и она узнали Дженни и остановили карету, чтобы приветствовать девушку – но вовсе не из дружеских чувств, а из гордыни. Было очевидно, что они обрадовались возможности продемонстрировать скромным пешеходам великолепную карету, в которой они путешествовали.

К несчастью, графская корона, изображенная на дверцах, указывала, что господин управляющий наслаждается ездой в карете своего хозяина.

Несомненно, они надеялись, что мы не заметим этой детали, и, надо признать, заметил ее только я: Дженни не обратила на нее ни малейшего внимания.

Дверца открылась.

– О, это вы, милая, – сказала сидевшая в карете молодая женщина. – Как я рада вас видеть! Обнимите же меня!

Дженни подошла к карете, стала на ступеньку, опущенную лакеем, и г-жа Стифф чуть коснулась губами лба моей любимой.

По странной прихоти случая эта пара поженилась не только в тот же самый день, что и мы, но и в тот же самый час.

Со вчерашнего дня мисс Роджерс стали называть г-жой Стифф.

При встрече это обстоятельство выяснилось, и мы узнали о таком совпадении в наших судьбах.

– Надеюсь, – заявила г-жа Стифф, – это принесет вам счастье, моя красавица... Но представьте же вашего мужа господину Стиффу.

Я выступил вперед, а затем наклоном головы и жестом руки, державшей шляпу, изобразил те знаки приветствия, какие предписывает в подобных случаях самый строгий этикет.

Господин и госпожа Стифф не упустили возможности произвести впечатление, и с первого же раза им посчастливилось страшно не понравиться мне.

Пока я раскланивался с ними, молодая женщина громко перечисляла имена и звания своего супруга:

– Господин Адам Леонард Стифф, главный управляющий господина графа Ноэля Олтона, пэра Англии.²⁴⁷

А затем вполголоса, но так, чтобы я расслышал, она спросила Дженни:

– А каков род занятий вашего мужа, милочка?

– Сударыня, – вмешался я, не оставляя Дженни времени на ответ, – я имею честь быть пастором ашборнской общины.

– Ах, bravo! – отозвался г-н Стифф. – Это как раз наш приход, и вы придете к нам в замок провести богослужение, мой добрый друг.

²⁴⁷ Пэры Англии – в XVIII в. лорды, являвшиеся главами аристократических семей и вместе с епископами и принцами крови составлявшие Палату лордов – высшую палату парламента.

Подобное обращение крайне возмутило меня: я не видел никаких оснований, по крайней мере, если говорить о моих собственных чувствах, считать г-на Стиффа моим добрым другом.

Его фамильярность оскорбила меня, и я, быть может, сухо ответил бы на это глупое предложение, но г-жа Стифф не дала мне ответить, обратившись к Дженни:

– Представьте себе, дорогая моя, когда моя портниха сообщила мне, что один из моих нарядов она предоставила вашей матери в качестве образца, я было подумала, что мне предстоит поздравить вас по поводу удачного брака с каким-нибудь баронетом²⁴⁸ или финансистом, ведь, согласитесь, мне даже в голову не могло прийти, что подобный туалет предназначается для того, чтобы оказать честь бедному сельскому пастору. Поэтому я с удовлетворением вижу, что вы вернулись к своей простой одежде, которая, впрочем, очень вам идет... Не правда ли, господин Стифф, мисс Смит очаровательна в этом белом платье с голубым поясом и в большой соломенной шляпке на голове?

– Очаровательна, это точно сказано, – согласился г-н Стифф, поднося ко рту сомкнутые пальцы руки и причмокнув губами.

– Сударыня, – заявила Дженни, словно не замечая нескромного одобрения г-на Стиффа, – я отношу на счет вашей доброты комплимент, который вы намеревались мне сделать; дело в том, что я не выхожу замуж ни за баронета, ни за финансиста – я выхожу замуж за человека, которого люблю... Наш брак заключен не по расчету, не из соображений выгоды: это брак по любви.

– Очень хорошо! – отозвался г-н Стифф. – Ничто в мире так меня не трогает, как подобного рода союзы. Говорят, они редко бывают счастливы, но я надеюсь, мой дорогой друг, что Провидение сделает благоприятное для вас исключение... Что же касается нас, то это не совсем брак по любви, не правда ли, госпожа Стифф? Это брак... по уважению... Да, я действительно нашел точное слово. Поэтому, – добавил он, смеясь, – мы уже спокойны, как два супруга, прожившие вместе много лет, а вот когда мы увидели вас вдалеке на дороге, мы, госпожа Стифф и я, стали спрашивать друг друга, что это за два влюбленных голубка у нас на пути... Ах, госпожа Стифф, меня осенила идея!

²⁴⁸ Баронет – наследственный титул рыцарского ордена, созданного в 1611 г. английским королем Яковом I; в английской феодальной иерархии достоинство баронета на ступень ниже достоинства пэра; новые титулы жалуются королем; баронеты имеют право на обращение «сэр», прибавляющееся лишь к их имени, но не к фамилии, а их супруги вправе именоваться «леди».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.